

586
D87

7





Пр. 2010

1229843

OPR

LIBRARY OF THE
UNITED STATES DEPARTMENT OF
THE INTERIOR
WASHINGTON, D. C.

1875

1(9)C 415(2=P)

K57

84

W

Научная библиотека
Уральского
Государственного
Университета

1229843

891.7 (09)

~~809~~

П. Коган.

К-586

БЕЛИНСКИЙ И ЕГО ВРЕМЯ.

м 51

47-н

В. Г. Бѣлинскій *).

I.

Николаевская эпоха.

7806 Основной принципъ правительственной системы. — Бюрократія. — Чиновничество, церковь, армія, внѣшняя политика Россіи. — Общество. — Теоретическое обоснованіе системы „официальной народности“. — Формула: православіе, самодержавіе, народность. — Прогрессивные элементы. — Наука. — Графъ Уваровъ. — Положеніе университетовъ. — Культурная роль университетовъ: Грановскій. — Положеніе литературы.

Содержаніе и тонъ русской литературы въ 30 и 40 годахъ XIX вѣка опредѣлялись прежде всего тяжелыми условіями тогдашней дѣйствительности. Другимъ важнымъ факторомъ, оказывавшимъ воздѣйствіе на развитіе нашей литературы, были вліянія, шедшія съ Запада. Роль русской дѣйствительности николаевского царствованія была глубоко отрицательной. Она своди-

*) Настоящій очеркъ почти цѣликомъ вошелъ въ „Очерки по исторіи русской литературы“. Къ 100-лѣтію со дня рожденія великаго писателя намъ казалось не бесполезнымъ выпустить этотъ очеркъ отдѣльно, внеся тѣ измѣненія, благодаря которымъ онъ приобретаетъ самостоятельное значеніе.

П. Коганъ. Бѣлинскій.

1*

лась къ подавленію всякой свободной мысли. Все, что стремилось къ лучшему будущему, стояло внѣ официальной жизни. Всѣ усилія власти были направлены къ тому, чтобы остановить естественное развитіе русскаго общества, утвердить старыя формы жизни и отжившія представленія. Вліянія, шедшія съ Запада, сыграли двоякую роль. Они не были однородны и разбивались на двѣ главныя струи. Одна шла глубоко въ разрѣзъ съ господствующей системой, и потому ея отраженіе въ литературѣ столкнулось съ внѣшними препятствіями. Это были соціальныя ученія французскихъ мыслителей, идеи Сень-Симона и Жоржъ-Санда, и нѣтъ ничего удивительнаго, что николаевская полиція свои главные удары направила на писателей, проводившихъ эти идеи, а самыя идеи не могли получить полного и всесторонняго выраженія въ русской литературѣ. Вторая струя шла изъ Германіи. Опасность нѣмецкой философіи для существующаго уклада не представлялась столь очевидной. Системы Шеллинга и Гегеля могли быть предметомъ обсужденія, такъ какъ споры объ отвлеченныхъ вопросахъ съ меньшими треніями уживались рядомъ съ николаевскимъ режимомъ. Нельзя было критиковать язвы современной дѣйствительности, но можно было говорить объ общечеловѣческихъ идеалахъ. Не позволялось выяснять антихудожественный характеръ дутыхъ патріотическихъ драмъ, но разрѣшалось углубляться въ дебри эстетики и устанавливать художественныя цѣнности вообще. Тогдашняя цензура строго карала оцѣнку дѣйствительности съ точки зрѣнія цѣлесообразности и разумности, но она не всегда мѣшала выработкѣ общихъ широкихъ воззрѣній на міръ, жизнь и искусство. Устраненная отъ жизни, русская мысль на первыхъ порахъ радостно устремилась на высоты метафизическихъ умствованій. Германская философія послужила выходомъ для жаждущаго дѣятельности ума. Если не было прак-

тического примѣненія для бурлившихъ силъ русскаго творческаго генія, загнаннаго въ сторону отъ живой современности, то самыя силы въ неблагопріятной обстановкѣ тѣмъ болѣе закалялись. Запрещалось вступать въ бой, но не всегда удавалось запретить запасаться оружіемъ. Вотъ почему вліяніе нѣмецкой философіи, несмотря на ея отвлеченный характеръ, не прошло безслѣдно въ исторіи русской общественности. Разъ получивъ толчокъ къ высшимъ стремленіямъ разъ переживъ пламенный порывъ къ міровой гармоніи, наши гегеліанцы не могли уже подходить къ мрачнымъ сторонамъ окружающей жизни безъ широкихъ точекъ зрѣнія, безъ энтузіазма, зажигающаго жажду активного воздѣйствія на нее. Бѣлинскій петербургскаго періода съ его нетерпѣливымъ боевымъ пыломъ не могъ бы явиться безъ его московскихъ увлеченій.

Разсмотрѣніе упомянутыхъ факторовъ должно предшествовать изученію русской литературы.

14-е декабря было знаменательнымъ днемъ въ исторіи Россіи въ двухъ отношеніяхъ. Съ него ведетъ свое начало новѣйшая исторія русскаго освободительнаго движенія. Этотъ же день послужилъ началомъ той реакціонной системы, въ которой бюрократическій строй впервые ясно и глубоко созналъ себя. Бюрократическая система получила всестороннее теоретическое обоснованіе, вобрала въ себя всѣ стороны жизни, привела къ строгому единству и законченному порядку все разнообразіе элементовъ общественной жизни. Декабрьскій переворотъ былъ задуманъ безъ народа, и идеи декабристовъ не имѣли глубокихъ корней не только въ народныхъ массахъ, но и въ сознательной части общества. Впечатлѣніе, произведенное декабрьскими событіями, было исходнымъ пунктомъ, опредѣлившимъ задачи новаго царствованія. Бдительный надзоръ съ цѣлью помѣшать повторенію декабрьскаго возстанія,—такова была эта задача. „Покончивъ съ мятежомъ и съ тайнымъ

обществомъ, правительство, — говоритъ Шильдеръ, — увидѣло передъ собою важную задачу: устранить на будущее время всякую возможность подобнаго явленія, чтобы всегда быть въ состояніи задуть въ самомъ зародышѣ всякій умыселъ враговъ существующаго порядка. Но для достиженія подобной цѣли нельзя было по-прежнему пренебрегать настроеніемъ общественнаго мнѣнія, отнынѣ надо было знать, что затѣвается въ обществѣ, какія мысли его волнуютъ, что въ немъ говорится, о чемъ оно размышляетъ; для успѣшнаго рѣшенія подобной задачи предстояло проникнуть въ сердце и тайные людскіе помыслы“. Этой задачей опредѣлялись и методы, и средства системы. „Проникнуть въ сердце и тайные помыслы“ было возможно только путемъ всесторонней бюрократической опеки надъ обществомъ и сложной системы полицейскаго сыска. Никакими средствами нельзя было пренебрегать, и неудивительно, что среди другихъ средствъ бдительнаго надзора начальникъ Третьяго Отдѣленія Бенкендорфъ указывалъ на то, что „вскрытіе корреспонденціи составляетъ одно изъ средствъ тайной полиціи и притомъ самое лучшее, такъ какъ оно дѣйствуетъ постоянно и обнимаетъ всѣ пункты имперіи“.

Таковъ былъ основной принципъ системы. Посмотримъ, что она сдѣлала изъ русской жизни, науки и литературы. Россія была отдана во власть безконтрольнаго чиновничества, работа живыхъ общественныхъ силъ была замѣнена работой канцелярій, гдѣ создалась своя бумажная жизнь, замѣнившая настоящую. Усилія грандіозной бюрократической машины были направлены къ поддержанію стройности и порядка въ этомъ бумажномъ царствѣ. Чиновники были отвѣтственны только передъ высшими чиновниками, интересовались больше тѣмъ, чтобы угодить начальству, чѣмъ заботиться объ интересахъ населенія. Въ эту эпоху утверждалось то бумажное отношеніе къ дѣлу,

которое въ официальномъ терминѣ „все обстоитъ благополучно“,—терминѣ, полномъ безсознательнаго сатирическаго яда,—нашло свое лучшее выраженіе. Въ эту эпоху отливался въ свою окончательную форму тотъ типъ чиновника, который Островскій въ послѣдствіи заклеилъ въ своемъ „Доходномъ мѣстѣ“ и идеальную противоположность котораго Грибоѣдовъ опредѣлилъ стремленіемъ „служить дѣлу, а не лицамъ“. Чиновники были послушными орудіями въ рукахъ начальства, которое третировало подчиненныхъ какъ лакеевъ, а эти послѣдніе не находили лучшаго средства возстановить свое поруганное человѣческое достоинство, какъ примѣнять подобное же обращеніе къ еще болѣе мелкимъ чиновникамъ. Извѣстный дневникъ А. В. Никитенка даетъ обильный матеріалъ для характеристики нравовъ тогдашней бюрократіи. „Что такое Мусинъ-Пушкинъ? — пишетъ Никитенко въ январѣ 1846 года о попечителѣ учебнаго округа.—Не страдаетъ ли онъ повременамъ умопомѣшательствомъ? Какъ онъ обращается съ своими подчиненными! Недавно онъ позвалъ къ себѣ нѣсколькихъ учителей гимназіи и разругалъ ихъ „болванами, дураками, пустыми головами, шутами“ и пр. И онъ таковъ со всѣми подчиненными, имѣющими въ немъ нужду, кромѣ, впрочемъ, профессоровъ университета. На-дняхъ онъ одного изъ служащихъ у него прогналъ, грозя кулаками“. Отъ людей, жившихъ и дѣйствовавшихъ въ подобной средѣ, конечно, нечего было ждать добросовѣстнаго отношенія къ дѣлу. Взятничество и вымогательства были страшнымъ бичемъ населенія, а взамѣнъ этого оно для удовлетворенія своихъ нуждъ не получало ничего, кромѣ никому не нужной безконечной бумажной переписки, характеръ которой прекрасно опредѣленъ откровеннымъ признаніемъ Фамусова „подписано—и съ плечъ долой!“ При господствѣ произвола чиновничество воспиталось въ убѣжденіи, что не оно при-

звано служить населенію, а, напротивъ, это послѣднее отдано ему въ полное распоряженіе. Никитенко такъ описываетъ генераль-губернатора Дьякова, который „уже нѣсколько лѣтъ признанъ сумасшедшимъ, и, тѣмъ не менѣе, ему поручена важная должность генераль-губернатора надъ тремя губерніями“. Каждый день его управленія тяжело доставался населенію. „Утро онъ обыкновенно проводитъ на конюшнѣ или на голубятнѣ: онъ страстный любитель лошадей и голубей. Всегда вооруженъ плетью, которую употребляетъ для собственноручной расправы съ правымъ и виноватымъ. Одну беременную женщину онъ велѣлъ высѣчь на конюшнѣ за то, что она пришла къ его дворецкому требовать 150 рублей за хлѣбъ, забранный у нея на эту сумму для генераль-губернаторскаго дома. Портному велѣлъ отсчитать сто ударовъ плетью за то, что именно столько рублей былъ долженъ ему за платѣе“.

Произволь и мертвый формализмъ царили во всѣхъ областяхъ государственнаго управленія. Церковь была частью бюрократической машины и находилась въ полномъ подчиненіи у свѣтской власти. Не было и тѣни религіозной свободы, дѣла о расколѣ трактовались какъ государственная тайна. Какъ и во всемъ, общество было устранено отъ участія въ обсужденіи важныхъ церковныхъ вопросовъ, и они рѣшались въ тайникахъ канцелярій. Русская армія была гордостью страны со времени наполеоновскихъ войнъ. Она считалась непобѣдимой, но внутри ея развивались язвы, подтачивавшія ея силы. Управляемая обычнымъ бюрократическимъ методомъ безъ участія общественнаго контроля, она подверглась общей участи, превратилась въ послушную машину безъ внутренней прочности. Хищничество и слѣпая вѣра въ силу бумажнаго воздѣйствія привели къ тому, что и здѣсь все обстоило благополучно только на бумагѣ. Въ дѣйстви-

тельности же рутина, невѣжество и отсутствіе инициативы не позволяли слѣдить за успѣхами военной техники, и крымскій разгромъ послужилъ жестокимъ урокомъ для бюрократической самонадѣянности. Во внѣшней политикѣ Россія являлась оплотомъ реакціи во всей Европѣ. Всюду, гдѣ вспыхивало революціонное движеніе, русскія войска являлись на помощь легитимизму. Именно въ эту эпоху положено было начало печальной славѣ Россіи, которая въ глазахъ передового европейскаго общества надолго осталась тормазомъ прогресса, политической свободы и научнаго изслѣдованія. Долгое время наше отечество служило пугаломъ для европейскихъ конституціонныхъ стремленій и предметомъ ненависти, которая рѣзко проявилась во время Крымской войны, когда на Россію ополчились не только враги, но и недавніе ея друзья. Обществу ничего не оставалось дѣлать при подобномъ режимѣ. Его не спрашивали, за него думали. Если, по ученію Монтескьё, гражданинъ имѣетъ право дѣлать все, чего не запрещаютъ законы, то, по принципамъ тогдашней бюрократіи, гражданамъ запрещается дѣлать все, на что не выдано соотвѣтствующаго разрѣшенія. Министръ народнаго просвѣщенія графъ Уваровъ, объясняя закрытіе „Московского Телеграфа“, сказалъ между прочимъ о Полевомъ: „Надо было отнять у него право говорить съ публикой—это правительство всегда властно сдѣлать и притомъ на основаніяхъ вполнѣ юридическихъ, ибо въ правахъ русскаго гражданина нѣтъ права обращаться письменно къ публикѣ“. Само собою разумѣется, что на такихъ же *юридическихъ основаніяхъ* гр. Уваровъ могъ отнять у Полевого право читать и ходить, такъ какъ подобныя привилегіи не числятся въ правахъ русскаго гражданина. Если среди высшей администраціи появлялся честный чиновникъ, это производило впечатлѣніе чуда. Когда Перовскій возсталъ противъ мошенничествъ

безъ которыхъ, „какъ безъ воздуха“, не могутъ жить купцы, это „привело всѣхъ въ восторгъ“. Впервые министръ обратилъ вниманіе на настоящія народныя нужды. „А кажется,—говоритъ Никитенко,—тутъ нѣтъ ничего необычайнаго. Это только простое выполненіе своего долга. Однако это *величайшая рѣдкость* у насъ... всѣ мѣтятъ *поверхъ* Россіи, и никто не заботится о томъ, что бѣдной Россіи ѣсть нечего, что воры-чиновники грабятъ послѣднее достояніе народа, что правды въ ней нѣтъ, и пр., и пр.“.

Такова была дѣйствительность. Въ ней было мало новаго для русскаго обывателя, который, въ сущности, всегда былъ предметомъ правительственной опеки и не былъ избалованъ вниманіемъ къ его нуждамъ. Новаго въ николаевской эпохѣ было то, что она, быть-можетъ, впервые глубоко и всесторонне сознала себя; подыскала теоретическое обоснованіе полицейско-бюрократическому режиму, создала своего рода философскую систему. 14-е декабря имѣло то значеніе, что за идеями какъ бы признана была сила, ихъ испугались. Явилось сознаніе, что съ идеями нужно бороться не однѣми только полицейскими мѣрами. Необходимо было создать что-нибудь похожее на идейную подкладку, на теоретическую предпосылку бюрократическаго произвола. И западнымъ соціальнымъ ученіямъ было противопоставлено свое доморощенное, явившееся прямолинейнымъ, наскоро состряпаннымъ обобщеніемъ существующаго порядка. Эта доморощенная политическая философія, за которой Пыпинъ утвердилъ названіе „официальной народности“, сохранилась до нашихъ дней на столбцахъ реакціонно-патріотическихъ органовъ. Ея основная идея заключалась въ томъ, что мертвящая бюрократическая система имѣетъ свои корни въ глубинахъ народнаго сознанія, соотвѣтствуетъ національному складу русскаго народа. Это былъ удачны^й оборотъ мысли, который долженъ былъ па-

рализовать разрушительное дѣйствіе шедшихъ съ Запада идей. Этимъ путемъ надѣялись сразу воздвигнуть преграду между Европой и Россіей. Нужно было сразу отдѣлать насъ отъ Запада. Такимъ образомъ николаевская эпоха не только положила начало всѣмъ тѣмъ идеямъ, которыми до сихъ поръ живетъ русская литература, она дала теоретическое оружіе и полицейскому русскому консерватизму. Застой былъ возведенъ въ идеаль. Національный русскій характеръ былъ истолкованъ въ духъ полной гармоніи съ стремленіями обскурантизма. „Мы, т.-е. люди XIX вѣка, — заявилъ министръ народнаго просвѣщенія графъ Уваровъ, — въ затруднительномъ положеніи; мы живемъ среди бурь и волненій политическихъ. Народы измѣняютъ свой бытъ, обновляются, волнуются, идутъ впередъ. Никто здѣсь не можетъ предписывать своихъ законовъ. Но Россія еще юна, дѣвственна и не должна вкусить, по крайней мѣрѣ теперь еще, сихъ кровавыхъ тревогъ. Надобно продлить ея юность и тѣмъ временемъ воспитать ее. Вотъ моя политическая система... Мое дѣло не только блюсти за просвѣщеніемъ, но и блюсти за духомъ поколѣнія. Если мнѣ удастся отодвинуть Россію на 50 лѣтъ отъ того, что готовятъ ей теоріи, то я исполню мой долгъ и умру спокойно. Вотъ моя теорія“.

Итакъ, „движеніе впередъ“ было признано несоотвѣтствующимъ національнымъ потребностямъ русскаго народа. *Теорія*, это слово все-таки было произнесено, хотя покуда теоріей было объявлено только отрицаніе всякихъ теорій. Ея основная мысль, что Россія — особое государство, что историческіе законы, выяснившіеся изъ развитія старшихъ народовъ, для Россіи не примѣръ, — эта основная мысль чисто отрицательнаго характера обусловила и всѣ другіе принципы официальнаго народничества, сообщивъ имъ тоже характеръ отрицанія. Эта теорія идеализировала рус-

скій народъ не за тѣ новыя соціальныя и политическія истины, которыя онъ могъ противопоставить Западу, не за свой особый путь развитія и поступательнаго движенія. Она усматривала оригинальность русскаго народа въ отсутствіи способности къ какому бы то ни было развитію, въ его якобы органической ненависти ко всякому прогрессивному движенію, въ его косности и преданности старому политическому и общественному укладу, который представлялся застывшимъ и неизблемымъ. Здѣсь кстати замѣтить, что эта идея неподвижности была главной чертой, отличавшей официальное народничество отъ славянофильства, которое тоже исходило изъ противопоставленія Россіи Западу, но которое, какъ мы увидимъ, было въ значительной степени прогрессивнымъ ученіемъ, соединяло идеализацію русской старины и русскаго національнаго характера съ идеей развитія и вѣрило въ возможность поступательнаго движенія Россіи на самобытныхъ началахъ.

Что же противопоставляло официальное народничество Западу въ русскомъ народѣ въ качествѣ его оригинальныхъ національныхъ свойствъ? Русскій народъ въ религіозномъ отношеніи не знаетъ тѣхъ потрясеній, которыя пережило западное общество. Православіе — первый самый главный устой русскаго народа. Онъ не знаетъ сектантскаго вольнодумства и протестантскаго рационализма. И если дѣйствительность рѣзко противорѣчила этому оптимизму официальной церкви, если расколъ и распространеніе сектантства являлись живымъ опроверженіемъ этого воззрѣнія, то теорія не хотѣла видѣть того, что происходило въ дѣйствительности. Она объявляла расколъ недоразумѣніемъ, результатомъ крамолы и преступной воли и не сомнѣвалась въ томъ, что полицейскими мѣрами удастся искоренить это явленіе, нарушавшее официальную гармонию, — вѣчная ошибка самонадѣян-

ной бюрократіи, отождествляющей себя и народъ и видящей въ нежелательныхъ для нея, но естественныхъ явленіяхъ народной жизни только проявленіе преступности.

Въ политическомъ отношеніи такимъ же неизблѣмымъ устоемъ являлось самодержавіе, которое понималось официальной народностью въ видѣ полицейско-бюрократическаго строя. И здѣсь Россія противопоставлялась Западу не какъ носительница идеи оригинальнаго политическаго строя, въ которомъ силы народа получали возможность свободно дѣйствовать и развиваться. Незыблемость самодержавнаго принципа теорія обосновывала отсутствіемъ потребностей въ народѣ, отсутствіемъ въ немъ политическаго честолюбія, общественнаго инстинкта и склонности къ управленію. Политическая оригинальность Россіи сводилась, такимъ образомъ, тоже къ политической пассивности и косности. Это свойство было положено въ основу третьяго принципа официальной теоріи — принципа народности. Въ сущности, этотъ третій принципъ былъ не чѣмъ инымъ, какъ сочетаніемъ двухъ первыхъ; что разумѣлось подъ нимъ, всего лучше показываетъ циркуляръ министра народнаго просвѣщенія попечителямъ учебныхъ округовъ отъ 27-го мая 1847 года, предписывавшій, что „русская народность въ чистотѣ своей должна выражать безусловную приверженность къ православію и самодержавію“, а „все, что выходитъ изъ этихъ предѣловъ, есть примѣсь чуждыхъ понятій, игра фантазіи или личина, подъ которою злоумышленные стараются уловить неопытность и увлечь мечтателей“. Русскому народу приписывалось благочестіе и смиреніе. Отреченіе считалось чуть ли не главной его добродѣтелью. Крѣпостное право и невѣжество провозглашались основами народной жизни. Россія отстала отъ западной науки, и въ этомъ ея счастье и оригинальность, такъ

какъ западная наука и философія подорвали авторитетъ вѣры и власти. Россія до сихъ поръ не избавилась отъ рабства, но это свойственно духу русскаго народа, такъ какъ онъ не нуждается въ личной свободѣ и не желаетъ выходить изъ патріархальнаго строя жизни, при которомъ помѣщикъ является отцомъ и покровителемъ своихъ крестьянъ. Русскому народу не предоставлено право голоса въ рѣшеніи своей участи, но онъ и не любитъ властвовать и по національному складу своему требуетъ надъ собой опеки. Словомъ, патріархальный строй мыслей и жизни, свойственный всякому народу въ извѣстную стадію его развитія, объявлялся вѣчной основой русской народности только потому, что эта стадія развитія затянулась въ Россіи позднѣе, чѣмъ въ другихъ государствахъ. Если дѣйствительность и здѣсь часто нарушала стройность теоріи, если крестьянскіе бунты, убійства помѣщиковъ и голодовки противорѣчили розовому взгляду на патріархальный бытъ, то теорія усматривала, какъ и всегда, причину не въ своемъ собственномъ несовершенствѣ, а въ частныхъ преступныхъ усиліяхъ. Когда дѣйствительность не всегда укладывалась въ рамки теоріи, когда факты говорили, что смиреніе и отреченіе — далеко не безспорныя качества русскаго народа, теорія не стремилась развиваться въ духѣ заявляющихъ о себѣ новыхъ потребностей. Она говорила, что нужно раздавить самыя потребности. Если есть недостатки, то они происходятъ не отъ несовершенства законовъ и учреждений, а отъ неисполненія этихъ законовъ и отъ людскихъ пороковъ. Средствами къ исправленію людей должны служить усиленіе надзора, строгое воспитаніе, строгая цензура книгъ и т. д. Словомъ, подавленному и угнетенному обществу рекомендовалось уничтожить въ себѣ послѣднія стремленія къ лучшей жизни, даже самыя попытки критики.

Лучшей аргументаціей своей непогрѣшимости система считала ссылку на внѣшнее величіе и могущество Россіи. Огромное пространство ея территоріи, страхъ, внушаемый ея арміей сосѣдямъ, спокойствіе внутри страны, противопоставляемое волненіямъ на Западѣ,—все это въ глазахъ системы официальной народности являлось лучшимъ свидѣтельствомъ ея превосходства надъ западными державами. Мы уже видѣли, какія внутреннія язвы подтачивали государственный организмъ, готовя ему гибель, какъ непрочны были эти кажущіяся спокойствіе и могущество. Еще до Крымской войны, которая была фактическимъ пораженіемъ этой системы, болѣе проникательные враги Россіи, не обольщавшіеся ея внѣшней силой, называли ее „колоссомъ на глиняныхъ ногахъ“.

Такова была официальная господствующая Россія. Таковъ былъ строй русской жизни и теоретическія основы, на которыя онъ опирался. Но рядомъ съ этой Россіей жила другая: критическая, оппозиціонная, подавленная и гонимая, составлявшая меньшинство, но пламенно рвавшаяся впередъ изъ этого застоя и подготавливавшая будущее. Ей почти не было мѣста въ официальной дѣйствительности, но она тѣмъ не менѣе чувствовалась, проявлялась и среди гоненій шла къ торжеству новыхъ идей и возрѣній, потому что это торжество было неизбежно вслѣдствіе естественнаго развитія страны. Таковъ всегда ходъ борьбы между матеріальной и духовной силой. Физическое торжество первой и подавленность второй являются невѣрными показателями истиннаго соотношенія силъ борющихся сторонъ. Внутренній процессъ совершается по большей части въ направленіи, противоположномъ внѣшнему. Часто чѣмъ больше торжествуетъ грубая сила, тѣмъ шире становится область, захватываемая

потокомъ новыхъ идей. Могучая въ мѣрахъ внѣшняго воздѣйствія, матеріальная сила не въ состояніи услѣдить за движеніемъ идей, какъ бы беззастѣнчиво и прямолинейно ни дѣйствовала она. И николаевская эпоха не избѣжала этого закона. Общественная мысль зрѣла и развивалась вопреки всѣмъ усиліямъ николаевской полиціи. Чтобы понять обстановку, въ которой приходилось дѣйствовать оппозиціонной Россіи, необходимо охарактеризовать положеніе тогдашней науки и литературы. Это были два единственныхъ пути, которыми среди всеобщаго застоя двигалось дѣло русскаго прогресса.

Надзоръ за этими путями находился въ вѣдѣніи министра народнаго просвѣщенія, который былъ верховнымъ властителемъ въ дѣлѣ народнаго образованія и главою цензурнаго вѣдомства, т. е. безконтрольнымъ властелиномъ русской литературы печати. 21-го марта 1833 г. на постъ министра народнаго просвѣщенія былъ назначенъ Сергѣй Семеновичъ Уваровъ, взгляды котораго опредѣляются приведенной выше тирадой его. А между тѣмъ Уваровъ былъ просвѣщеннымъ чело-вѣкомъ по сравненію со своими предшественниками Шишковымъ и Ливеномъ, и его взгляды представлялись еще слишкомъ смѣлыми по тогдашнему времени. Незадолго до своего назначенія министромъ Уваровъ въ качествѣ товарища министра былъ командированъ для осмотра московскаго университета. Въ отчетѣ, представленномъ имъ Императору Николаю, онъ указывалъ на то, что въ основѣ правильнаго образованія должны лежать „истинно-русскія охранительныя начала православія, самодержавія и народности, составляющія послѣдній якорь нашего спасенія и вѣрнѣйшій залогъ силы и величія нашего отечества“. По мнѣнію Уварова, „въ нынѣшнемъ положеніи вещей и умовъ нельзя не умножать, гдѣ только можно, число умственныхъ

1229843

плотинъ“. Какъ смотрѣлъ Уваровъ на крѣпостное право, всего лучше видно изъ его мыслей, записанныхъ Погодинымъ. Онъ считаетъ, что этотъ институтъ не можетъ быть тронутъ „безъ всеобщаго потрясенія“. Крѣпостное право одно осталось отъ всего, что было „прежде Петра I“, и вопросъ о немъ тѣсно связанъ съ вопросомъ о самодержавіи. И даже этотъ бюрократъ съ крѣпостническими взглядами не могъ удержаться до конца николаевскаго царствованія. Въ концѣ 40-хъ годовъ, когда началась эпоха террора въ области науки и литературы, Уваровъ оказался слишкомъ либеральнымъ. Въ началѣ 1849 г. среди другихъ мрачныхъ слуховъ распространились слухи о готовящемся закрытіи всѣхъ университетовъ. Это уже было нѣчто большее, чѣмъ уваровщина, и Уваровъ рѣшился на смѣлый шагъ. Въ „Современникѣ“ появилась безъ подписи автора статья „О назначеніи русскихъ университетовъ и участіи ихъ въ общественномъ образованіи“. Самъ Уваровъ былъ редакторомъ и цензоромъ статьи. Мысли, проводимыя въ ней, были ультра-благонамѣренны. Существованіе университетовъ оправдывалось тѣмъ, что „отсюда образованные, благородные юноши ежегодно исходятъ на вѣрное служеніе обожаемому Монарху“. Назначеніе университетовъ опредѣлялось такъ: „разливать благотворный свѣтъ современной науки, не меркнушій въ вѣкахъ и народахъ, хранить во всей чистотѣ и богатить отечественный языкъ, органъ нашего православія и самодержавія, содѣйствовать развитію народной самобытной словесности, этого самопознанія нашего и цвѣта жизни, передавать юному поколѣнію сокровища мудрости, освященной любовью къ вѣрѣ и престолу“. И эта статья показалась опасной и навлекла на Уварова неудовольствіе государя! „Комитетъ 2-апрѣля 1848 г.“, учрежденный потому, что существующихъ органовъ для пресѣченія вредныхъ идей казалось, повидимому,

2

П. Коганъ. Бѣлинскій.

Научная библиотека
Уральского
Государственного
Университета

мало, призналъ статью объ университетахъ предосудительной, несмотря на идеи „преданности государю и любви къ Россіи“. Комитетъ находилъ дерзостью тотъ фактъ, что „частное лицо принимаетъ на себя разбирать и опредѣлять тономъ законодателя сравнительную пользу учреждений государственныхъ, каковы университеты и другія учебныя заведенія“. По мнѣнію комитета, „сіи разсужденія могли бы быть представлены отъ автора на благоусмотрѣніе высшаго начальства въ видѣ скромныхъ желаній человѣка, считающаго себя знакомымъ съ этимъ дѣломъ“. На объясненіи, представленномъ Уваровымъ, императоръ Николай I положилъ резолюцію, въ которой между прочимъ было сказано: „Нахожу статью, пропущенную въ „Современникѣ“, *неприличною*, ибо ни хвалить, ни бранить наши правительственныя учрежденія, *для отвѣта на пустые толки*, не согласно ни съ достоинствомъ правительства ни съ порядкомъ у насъ, къ счастью, существующимъ. Должно *повиноваться*, а разсужденія свои держать *про себя*“. Въ концѣ 1849 года графъ Уваровъ вышелъ въ отставку, уступивъ свое мѣсто Ширинскому-Шихматову, котораго тогдашніе каламбуристы называли Шахматовымъ, увѣряя, что „съ назначеніемъ его и министерству и самому просвѣщенію въ Россіи дасть не только *шахъ*, но и *матъ*“.

Нетрудно догадаться, въ какомъ положеніи находилось дѣло народнаго образованія подъ руководствомъ подобныхъ администраторовъ. Вскорѣ мы увидимъ, что переживалъ Бѣлинскій, столкнувшись въ университетѣ съ той муштрой, которая практиковалась по отношенію къ студентамъ. Уже въ концѣ александровскаго царствованія, когда правительство отъ либеральныхъ начинаній первой половины царствованія перешло къ открытой реакціи, университеты подверглись гоненіямъ. Въ 1819 году знаменитый Магницкій, „членъ главнаго училищъ правленія“,

произвелъ ревизію казанскаго университета, а вскорѣ въ качествѣ попечителя казанскаго округа совершилъ полный разгромъ его или, какъ тогда выражались, коренныя реформы. Во что превратились профессорскія кафедрѣ при Магницкомъ, всего лучше показываютъ инструкціи, которыя давались профессорамъ относительно плановъ преподаванія. „Благоразумное преподаваніе политическаго права“ должно было показать, что „правленіе монархическое есть древнѣйшее и установлено Самимъ Богомъ“. Профессоръ теоретической и опытной физики „обязанъ во все продолженіе курса своего указывать на премудрость Божію и ограниченность нашихъ чувствъ и орудій для познаній непрестанно окружающихъ насъ чудесъ“. Профессора медицинскихъ наукъ должны были предотвратить „то ослѣпленіе, которому многіе изъ знатнѣйшихъ медиковъ подверглись отъ удивленія превосходству органовъ и законовъ животнаго тѣла нашего, впадая въ гибельный матеріализмъ именно отъ того, что наиболѣе премудрость Творца открываетъ“. Наконецъ, профессору исторіи вмѣнялось въ обязанность „распоряженіями по части учебной и духовной Владимира Мономаха“ доказать, что Россія „въ истинномъ просвѣщеніи упредила многія современныя государства“. Неудивительно, что большинство профессоровъ не могло удовлетворять подобнымъ требованіямъ и было уволено Магницкимъ, а тѣ, кто остались, открывали слушателямъ своеобразныя истины въ родѣ того, что „гипотенуза въ прямоугольномъ треугольникѣ, какъ говорилъ профессоръ математики, есть символъ срътенія правды и мира, правосудія и любви, чрезъ ходатая Бога и человѣковъ, соединившаго горнее съ дольнымъ, небесное съ земнымъ“. При императорѣ Николаѣ правительство обращаетъ особое вниманіе на университеты. Принимаются всякія мѣры для того, чтобы обезпечить благонамѣренное вліяніе универси-

тетовъ. Для этого прежде всего правительство стремится превратить ихъ въ спеціальныя дворянскіе институты. Въ секретномъ циркулярѣ министра народнаго просвѣщенія попечителямъ учебныхъ округовъ указывалось на то, что „возрастающее повсюду стремленіе къ образованію“ грозитъ „поколебать порядокъ гражданскихъ сословій, возбуждая въ юныхъ умахъ порывъ къ приобрѣтенію роскошныхъ знаній“. Были приняты мѣры къ тому, чтобы затруднить доступъ въ университеты дѣтямъ купцовъ и мѣщанъ. Надзоръ за студентами приобрѣлъ характеръ мелочного и придирчиваго вмѣшательства въ ихъ жизнь. Студенты рассматривались не какъ взрослые люди, а какъ дѣти, требующія опеки. Даже ихъ поведеніе, манеры, прическа, „наружный образъ“ стали предметомъ надзора.

И тѣмъ не менѣе, несмотря на все стѣсненія, университеты уже начали выполнять свою высокую культурную миссію. Правительство Николая I недаромъ обратило такое серьезное вниманіе на расадники знанія. Сквозь оковы, наложенныя на нихъ желѣзной рукой, пробивалась прогрессивная мысль. Въ университетахъ сосредоточивается все лучшее въ области ума и таланта, что было тогда въ Россіи. Никакіе цензоры и жандармы не въ состояніи услѣдить за развитіемъ „вредныхъ“ идей и, по справедливому замѣчанію И. Н. Бороздина, вся послѣдующая освободительная борьба въ основныхъ ея фазисахъ тѣсно связана съ русскими университетами. Особенно крупную просвѣтительную и общественную роль сыгралъ московскій университетъ, который меньше другихъ подвергался гоненіямъ, отчасти благодаря тому, что попечителемъ его состоялъ графъ Строгановъ, сравнительно просвѣщенный и либеральный человекъ. Такіе профессора, какъ Грановскій, были свѣтлымъ явленіемъ на мрачномъ фонѣ русской жизни. „Жандармы“ просмотрѣли выступленіе на сцену

Кудрявцева, Соловьева, Кавелина, Пирогова и другихъ. Прямолинейный полицейскій умъ направлялъ свою силу на тѣ явленія, которыя непосредственно становились въ оппозицію царившему гнету. Тамъ, гдѣ прогрессивныя идеи облекались въ болѣе сложныя формы, борьба съ ними требовала тонкаго ума, которымъ не обладала бюрократія, и эта борьба не могла быть столь же успѣшной, удары опекающей власти не всегда были направлены противъ главныхъ позицій врага. Этимъ объясняется, почему при всѣхъ стѣсненіяхъ и преслѣдованіяхъ такіе профессора, какъ Грановскій, успѣли выполнить свою высокую культурную миссію и, по выраженію Герцена, сыграть роль „миссіонеровъ человѣческой религіи“. Въ научной работѣ, даже лишенной боевого пыла, таились идеи, подготовлявшія паденіе обскурантизма. Университеты уже въ николаевскую эпоху пріобрѣтаютъ тѣ черты, которыя впослѣдствіи они удержали въ качествѣ обычныхъ явленій, присущихъ высшей школѣ. Эти явленія—подозрительное отношеніе къ университетамъ правительства, высокій авторитетъ имени профессора не только въ качествѣ представителя науки, но и въ качествѣ общественнаго учителя, беззавѣтная самоотверженность студентовъ въ качествѣ застрѣльщиковъ, а иногда и единственныхъ жертвъ освободительной борьбы, наконецъ, тѣсная связь между университетской наукой и публицистикой,—все это превращало университеты въ главные, повременамъ единственные оазисы бѣдной русской общественности, гдѣ никогда не замирали научная мысль и социальный инстинктъ.

Съ университетами тѣсно связано развитіе русской литературы. Положеніе этой послѣдней мало отличалось отъ положенія науки. До 1848 года дѣйствовалъ цензурный уставъ 1828 года, по которому, какъ выразился одинъ цензоръ, можно было даже и „Отче

нашъ истолковывать якобинскимъ нарѣчіемъ“. Разрушительное дѣйствіе этого устава усиливалось практикой, которая установилась при его примѣненіи. Въ упомянутомъ уже выше докладѣ Уварова будущій министръ коснулся не только университетовъ, но и цензуры. Уваровъ высказывалъ ту мысль, что недостаточно „укротить въ журналистахъ порывъ заниматься предметами, до государственнаго управленія относящимися“. Вникнувъ „ближе въ сей предметъ“, Уваровъ убѣдился, что „вліяніе журналовъ на публику не безвредно и съ литературной стороны; развратъ нравовъ приуготовляется развратомъ вкуса“. Этимъ опредѣлялся характеръ отношеній цензуры къ печати. Нѣтъ надобности приводить классическіе примѣры подвиговъ цензуры. Они слишкомъ хорошо извѣстны. Достаточно ограничиться небольшимъ отрывкомъ изъ дневника Никитенка, хотя и относящимся къ началу 50 годовъ, но характернымъ для всей николаевской эпохи. „Дѣйствія цензуры,—говоритъ онъ,—превосходятъ всякое вѣроятіе. Чего этимъ хотятъ достигнуть? Остановить дѣятельность мысли? Но вѣдь это все равно, что велѣть рѣкѣ плыть обратно. Вотъ изъ тысячи фактовъ нѣкоторые самые свѣжіе. Цензоръ Ахматовъ остановилъ печатаніе одной ариеметики, потому что между цифрами какой-то задачи помѣщенъ рядъ точекъ. Онъ подозрѣваетъ здѣсь какой-то умыселъ составителя ариеметики. Цензоръ Елагинъ не пропустилъ въ одной географической статьѣ мѣста, гдѣ говорится, что въ Сибири ѣздятъ на собакахъ. Онъ мотивировалъ свое запрещеніе необходимостью, чтобъ это извѣстіе предварительно получило подтвержденіе со стороны министерства внутреннихъ дѣлъ. Цензоръ Пейкеръ не пропустилъ одной метеорологической таблицы, гдѣ числа мѣсяца означены по старому и по новому стилю обыкновенно принятому фор-

мулю: $\frac{\text{по стар. стилю}}{\text{по нов. стилю}}$. Онъ потребовалъ, чтобы наверху черточки стояло *по новому* стилю, а слова *по старому* — внизу. Таблицы между тѣмъ, какъ состоящія изъ цифръ, представлены были на разсмотрѣнiе уже по напечатанiи, такъ какъ нельзя было предвидѣть, чтобы онѣ могли подвергнуться запрещенiю. Издателю предстояло все вновь печатать. Онъ обратился къ попечителю и, наконецъ, тотъ, по долгому и глубокому размышленiю, насилу согласился разрѣшить, чтобы таблицы остались въ первоначальномъ видѣ“.

Эта краткая выписка краснорѣчивѣе всѣхъ цензурныхъ уставовъ и циркуляровъ той эпохи. Она ярко рисуетъ практику цензурнаго дѣла. По ней нетрудно видѣть, въ какихъ тискахъ билась русская мысль. Такова была дѣйствительность николаевской эпохи. Неудивительно, что литература не сразу нашла пути къ этой дѣйствительности, огражденной всевозможными заставами отъ вторженiя критики и просвѣщенной мысли. Неудивительно, что литература начала съ отвлеченныхъ умствованiй и утопическихъ мечтанiй. Она создавала тѣ туманные идеалы истины и практическаго дѣла, которыми издалека озаряла недоступную ей реальную жизнь. Она не могла сразу облечь эти идеалы въ тѣлесную форму, и долго въ лучшихъ умахъ и благородныхъ сердцахъ преобладалъ страстный павный идеализмъ, не претворенный въ конкретное дѣло, горѣлъ тотъ энтузіазмъ, который разрѣшался либо увлекательнымъ павосомъ, либо героическимъ порывомъ.

II.

Жизнь и личность.

Бѣлинскій. — Дѣтство. — Школа. — Университетъ. — Юношеская трагедія „Димитрій Калининъ“. — Вліяніе Надеждина. — Кружки. — Станкевичъ. — Вопросъ о „переворотѣ“ въ направленіи Бѣлинскаго по переѣздѣ въ Петербургъ. — Начало славянофильства. — Последніе годы жизни Бѣлинскаго.

Въ рѣдкую эпоху теоретическая мысль и дѣйствительность были отдѣлены другъ отъ друга такой глубокой пропастью, какъ въ это мрачное время. Съ одной стороны — гармоническія системы нѣмецкой философіи, съ высоты которыхъ безконечное разнообразіе видимаго міра получало стройность и единство, и социальныя мечты французскихъ утопистовъ, сулившія осуществленіе всеобщаго счастья при помощи одного нравственнаго усилія. Съ другой стороны — печальная русская дѣйствительность, бюрократическая вакханалія и крѣпостное право, — живое отрицаніе и нѣмецкой гармоніи, и французскихъ социальныхъ чаяній. Въ эту эпоху жилъ и писалъ Бѣлинскій, въ лицѣ котораго соединилось теоретическое стремленіе нѣмецкаго ума къ философскому единству, пламенный порывъ французскихъ мечтателей къ социальной справедливости и „великое сердце“, судорожно и больно сжимавшееся отъ каждаго стона русскаго общества, отъ слезъ и страданій, наполнявшихъ русскую землю. Съ болѣзненной силой воспринялъ Бѣлинскій все то, что могла открыть эта эпоха жадному уму и чуткому сердцу.

Точно нарочно судьба бросила этот нетерпеливый умъ въ омутъ противорѣчій николаевского времени. Для каждой эпохи существуетъ свой типъ творческаго генія, который особенно сильно способенъ воплотить ея надежды и разочарованія. Именно въ Англіи съ пуризмомъ ея общества, съ ея консервативнымъ національнымъ складомъ, съ ея строгою обрядностью и охраной внѣшнихъ формъ жизни и обычаевъ гордый индивидуалистъ могъ въ высшей степени пережить ту міровую тоску, которую пережилъ Байронъ. Именно тамъ могъ развиваться его титаническій порывъ къ одиночеству, его тоскующее презрѣніе къ человѣчеству. Жизненный путь Бѣлинскаго отъ колыбели до послѣдняго издыханія былъ усыянъ терніями. Съ ранняго дѣтства его пытливый умъ бился въ тискахъ, которыми николаевская эпоха сжала все, что выходило изъ рамокъ строя, начертаннаго бюрократическимъ режимомъ. Мы видѣли, что мертвящая сила этого режима проявлялась всюду, — и въ казенномъ характерѣ тогдашняго просвѣщенія; въ бессодержательности и пошлости обывательскаго существованія; въ безконтрольномъ могуществѣ хищнаго чиновничества; въ практическомъ безсиліи теоретической мысли и завоеваній западной философіи и науки.

Бѣлинскій вынесъ всѣ удары этого режима, и подъ этими ударами развивался его творческій геній съ такимъ страстнымъ порывомъ къ свободѣ, на какой способенъ только орелъ, заключенный въ клѣтку. Въ ужасахъ николаевской эпохи нашелъ онъ неисчерпаемый источникъ доказательствъ въ защиту поруганнаго человѣческаго достоинства, въ пользу незыблемыхъ правъ человѣческой личности.

Бѣлинскому было пять лѣтъ, когда отецъ его переселился въ 1816 г. въ г. Чембаръ Пензенской губерніи. Нетрудно представить себѣ картину захолустной жизни, среди которой протекало дѣтство отзывчиваго

и болѣзненно-чуткаго ребенка. „Общество, которое дитя встрѣчало у отца,—разсказываетъ въ своихъ воспоминаніяхъ Лажечниковъ,—были городскіе чиновники, большею частью члены полиціи, съ которыми уѣздный лѣкарь (отецъ Бѣлинскаго) имѣлъ дѣло по своей должности (отъ которой ничего не наживалъ). Общество это видѣлъ онъ нараспашку, часто за ерофеичемъ и пуншемъ, слышалъ рѣчи, обращающіяся болѣе всего около частныхъ интересовъ, приправленные цинизмомъ взяточничества и мелкихъ продѣлокъ, видѣлъ воочію неправду и черноту, не замаскированныя боязнью гласности, не закрашенные лоскомъ образованности, видѣлъ и купленное за ведерку крестное цѣлованіе понятыхъ, и свидѣтельствованіе разнаго рода побоевъ, и пр. Прибавьте къ безотрадному зрѣлищу гнилого общества, которое окружало его въ малолѣтствѣ, домашнее горе, бѣдность, нужды, вѣчно его преслѣдовавшія, вѣчную борьбу съ ними, и вы поймете, отчего произведенія его иногда переполнялись желчью отчего въ откровенной бесѣдѣ съ нимъ изъ наболѣвшей груди его вырывались грозно обличительныя рѣчи, которыя, казалось, душили его“. Эта безотрадная картина не утрачиваетъ своего значенія даже вслѣдствіе поправокъ другихъ современниковъ, которые свидѣтельствуютъ, что она страдаетъ преувеличеніями, а главное, что отецъ Бѣлинскаго, человѣкъ умный, понимавшій своего даровитаго сына, держался по возможности въ сторонѣ отъ провинціального общества и не участвовалъ въ продѣлкахъ тогдашней администраціи. Если не всегда лично, то по разсказамъ зналъ онъ, что творилось вокругъ. Въ семьяхъ знакомыхъ помѣщиковъ видѣлъ онъ потрясающія картины крѣпостного быта, и этого было достаточно, чтобы печальная русская дѣйствительность получила надлежащее освѣщеніе въ умѣ Бѣлинскаго уже съ ранняго дѣтства.

Въ семьѣ тоже не было мира и согласія. Мать пред-

ставляла собою типъ екатерининскаго вѣка, когда „идолопоклонство чинамъ и общественнымъ званіямъ замѣняло вѣру въ человѣческое достоинство“. Она помнила, что была дочерью флотскаго офицера, и относилась свысока къ мужу-поповичу, который былъ склоненъ къ юмору и насмѣшкѣ и равнодушно относился къ ея упрекамъ. Семейныя трагедіи отравили беззаботную пору дѣтства будущаго писателя. Мало отраднаго дала Бѣлинскому и школа. Достаточно вспомнить, что одинъ изъ преподавателей чембарскаго уѣзднаго училища, гдѣ учился Бѣлинскій, былъ „страстный любитель наказаній, розогъ, которыя онъ употреблялъ иногда въ видѣ ласки, наказывая ими сквозь платье, ради потѣхи совершенно невиннаго и прилежнаго мальчика“ и успокаивая потомъ немилосердно избитаго мальчика ласками и щекоткой. Передъ родителями такая система воспитанія оправдывалась „будущей пользой“. Немногимъ лучше обстояло дѣло и въ пензенской гимназіи, куда Бѣлинскій перешелъ изъ чембарскаго училища. Въ этой гимназіи незадолго до поступленія Бѣлинскаго происходила знаменитая сцена— „погребеніе кота мышами“: ученики выносили на рукахъ учителя словесности изъ класса—нетрудно догадаться въ какомъ видѣ. Но таково уже великое значеніе знанія, что прикосновеніе къ его источнику, даже загрязненному и поруганному, оказываетъ неотразимое дѣйствіе на пытливый умъ, ищущій свѣта. Среди мертвящей провинціальной педагогіи Бѣлинскій отыскалъ лучи свѣта. Онъ, подростокъ, сталъ другомъ и почти равнымъ собесѣдникомъ одного изъ немногихъ мыслящихъ и образованныхъ преподавателей, М. М. Попова, у котораго Бѣлинскій нашелъ книги и журналы. Поповъ, преподаватель естественной исторіи, страстно любилъ литературу, и часто уроки естествознанія превращались въ горячіе дебаты о Шекспирѣ, Байронѣ и Пушкинѣ.

Вотъ что дало дѣтство и отрочество Бѣлинскому. Тяжелая крѣпостническая дѣйствительность въ общественной жизни, отсутствіе ласки и женскаго призора въ семьѣ, школьная рутина и свѣтлый міръ идей, манившій его въ твореніяхъ поэтовъ и въ журналахъ, гдѣ уже благодаря Полевому и Надеждину вѣялъ духъ западной философской и критической мысли. Въ университетѣ Бѣлинскій столкнулся на первыхъ порахъ съ тѣми же спутниками своей горькой доли—съ бѣдностью и казеннымъ формализмомъ, съ своимъ одиночествомъ и сиротливостью. Инспекторъ Чумаковъ „самымъ грубымъ образомъ“ грозилъ прогнать изъ университета всѣхъ своекоштныхъ, которые „черезъ недѣлю не будутъ имѣть форменной одежды“. Денегъ у Бѣлинскаго не было и, чтобъ исполнить требованіе Чумакова, приходилось выпрашивать ихъ у отца, но присылка ихъ сопровождалась бранью, которая, по словамъ бѣднаго студента, „раздирала душу, приводила въ отчаянье“. Жизнь на казенномъ коштѣ (одно время сносную) Бѣлинскій въ сентябрѣ 1830 г. называетъ ужасной: „Лучше быть подьячимъ въ чембарскомъ земскомъ судѣ, нежели жить на этомъ каторжномъ, проклятомъ казенномъ коштѣ“. Но зато здѣсь закипѣла та умственная жизнь, которой Бѣлинскій жадно искалъ въ пензенскомъ захолустѣ. „11 номеръ“, гдѣ жилъ Бѣлинскій, сталъ свидѣтелемъ горячихъ споровъ о классицизмѣ и романтизмѣ, о Пушкинѣ, Державинѣ и Ломоносовѣ, о лекціяхъ профессоровъ, о журнальныхъ статьяхъ. Здѣсь передъ кружкомъ товарищей прочелъ Бѣлинскій свою юношескую трагедію, которой суждено было сыграть роковую роль въ его университетской карьерѣ, которая лучше всякихъ изслѣдованій говоритъ о томъ, что первый порывъ его литературнаго вдохновенія принадлежалъ страдающему народу. И какъ бы ни уклонялся впоследствии Бѣлинскій въ сторону отвлеченныхъ умство-

ваній, этотъ первый порывъ никогда не угасалъ въ немъ и всегда согрѣвалъ благороднымъ чувствомъ его произведенія.

Какъ ни мелодраматиченъ сюжетъ „Димитрія Калинина“, даже въ настоящее время нельзя отрѣшиться отъ обаятельнаго дѣйствія нѣкоторыхъ мѣстъ ея. Ея главный герой Димитрій—герой во вкусъ юношескихъ трагедій Шиллера и Лермонтова. Рядъ трагическихъ тайнъ окружаетъ его. Онъ воспитывается въ домѣ помѣщика. Онъ—побочный сынъ его, но никто этого не знаетъ. Его ненавидятъ въ домѣ всѣ, кромѣ отца, который обращается съ нимъ какъ съ своими дѣтьми. Онъ любитъ Софью, законную дочь своего отца, и она отвѣчаетъ ему пламенной взаимной страстью. Но вотъ отецъ его умираетъ, и домашніе начинаютъ вымѣщать на немъ свою злобу. Софью хотятъ насильно выдать замужъ за гнуснаго соблазнителя князя Кизяева, а благороднаго Димитрія (который числился по бумагамъ сыномъ крѣпостной, и которому отецъ не успѣлъ передъ смертью дать отпускную) заставляютъ служить лакеемъ во время свадебнаго пиршества. Не помня себя, Димитрій убиваетъ брата Софьи Андрея. Его арестуютъ. Но Димитрій бѣжитъ изъ тюрьмы; съ „разорванной цѣпью на рукѣ“ является снова въ домъ Лѣсинской, послѣ пламеннаго объясненія съ Софьей, не видя исхода, онъ, по ея просьбѣ, убиваетъ ее, а затѣмъ, сорвавъ съ руки цѣпь, закалывается, трагически воскликнувъ: „Свободнымъ жилъ я, свободнымъ и умру!“ Трагедія полна ужасовъ. Помимо главной интриги, въ нее вплетены печальная исторія женщины, соблазненной Кизяевымъ, трагедія Сурскаго, пріятеля Димитрія, и т. д. Но въ чемъ авторъ не поспешилъ на краски, это въ изображеніи страданій крѣпостного народа. Онъ описываетъ жестокія расправы на конюшнѣ, гдѣ безпощадно дерутъ всѣхъ — и стариковъ, и женщинъ. Онъ рассказываетъ тяжелую исторію, какъ

жадная Лѣсинская погубила счастье цѣлой зажиточной семьи, безчеловѣчно ограбивъ ее, а затѣмъ сдавъ въ солдаты единственнаго сына въ отместку за то, что разоренный мужикъ осмѣлился запротестовать. Умерла съ горя мать. Спился и погибъ отецъ. И при видѣ этихъ ужасовъ авторъ влагаетъ въ уста Димитрія слова, которыя точно выхвачены изъ шиллеровскихъ „Разбойниковъ“ или „Коварства и любви“. „Неужели эти люди для того только родятся на свѣтъ, чтобы служить прихотямъ такихъ же людей, какъ и они сами? Кто далъ это гибельное право—однимъ людямъ поработать своей власти волю другихъ, подобныхъ имъ существъ, отнимать у нихъ священное сокровище—свободу? Кто позволилъ имъ ругаться правами природы и челоуѣчества? Господинъ можетъ для потѣхи или для разсѣянья содрать шкуру съ своего раба, можетъ продать его, какъ скота, вымѣнять на собаку, на лошадь, на корову, разлучить его на всю жизнь съ отцомъ, съ матерью, съ сестрами, братьями, со всѣмъ, что для него мило и драгоцѣнно!.. Милосердный Боже, Отецъ челоуѣковъ, отвѣтствуй мнѣ! Твоя ли премудрая рука произвела на свѣтъ этихъ змѣевъ, этихъ крокодиловъ, этихъ тигровъ, питающихся костями и мясомъ своихъ ближнихъ и пьющихъ, какъ воду, ихъ кровь и слезы?..“

Извѣстны послѣдствія перваго литературнаго выхода Бѣлинскаго. Онъ послужилъ истинной причиной его исключенія изъ университета.

На административныхъ порядкахъ университета лежала печать бюрократическаго формализма. Имъ же было проникнуто и университетское преподаваніе. Профессора читали по чужимъ руководствамъ. „Умнѣ Пленка не сдѣлаешься, хоть и напишешь свое собственное“,—отвѣчалъ одинъ изъ нихъ, объясняя, почему онъ „будетъ читать по Пленку“. Шевырева и Надеждина еще не было на словесномъ факультетѣ.

Тускло и холодно, по выраженію К. Аксакова, свѣтило тогда „солнце истины“ въ московскомъ университетѣ, но „живыя, не подавленные силы находили къ ней дорогу“. Какъ въ мертвящемъ преподаваніи пензенской гимназіи Бѣлинскій жадно ловилъ слѣды свѣта и знанія, такъ и здѣсь, въ университетѣ, онъ и кружокъ его даровитыхъ товарищей сквозь тусклый свѣтъ „солнца истины“ разглядѣли его настоящій яркій блескъ. То, чего не давали сухія лекціи профессоровъ, студенты находили въ тогдашней литературѣ, въ товарищескихъ бесѣдахъ и горячихъ спорахъ. Здѣсь складывался увлекательный типъ юнаго гегелянца, съ его пламенной вѣрой, съ его поспѣшными обобщеніями и апріорными построеніями, съ его незнаніемъ фактовъ и реальной дѣйствительности, съ его философскимъ пафосомъ и практической непригодностью,—тотъ типъ, черты котораго собраны въ Рудинѣ и разсѣяны въ герояхъ романовъ 40 и 50-хъ годовъ. Появленіе на университетской кафедрѣ Надеждина, въ концѣ пребыванія Бѣлинскаго въ университетѣ, еще болѣе всколыхнуло умы молодежи. Еще до него интересъ къ философскимъ вопросамъ былъ пробужденъ проф. Павловымъ. Надеждинъ вліялъ не только какъ профессоръ, но и въ качествѣ журналиста. Критика Полевого и Надеждина была однимъ изъ главныхъ факторовъ, будившихъ умы. Правда, новѣйшіе изслѣдователи уничтожили тотъ ореолъ, которымъ было окружено имя Надеждина въ качествѣ вдохновителя и главнаго учителя Бѣлинскаго. Въ первомъ томѣ венгеровскаго изданія сочиненій Бѣлинскаго приведены цѣнныя данныя, свидѣтельствующія о томъ, что многія стороны дѣятельности Надеждина имѣли отрицательное значеніе въ исторіи развитія русской мысли.

Тѣмъ не менѣе, его лекціи все-таки были важнымъ факторомъ умственнаго развитія молодежи въ 30-хъ го-

дахъ. Быть-можетъ, правильнѣе всего его роль опредѣляется въ слѣдующихъ словахъ К. Аксакова: „Надеждинъ производилъ, съ начала своего профессорства, большое впечатлѣніе своими лекціями. Онъ всегда импровизировалъ. Услышавъ умную, плавную рѣчь, почуявъ, такъ сказать, воздухъ мысли, молодое поколѣніе съ жадностью и благодарностью обратилось къ Надеждину, но скоро увидѣло, что ошиблось въ своемъ увлеченіи. Надеждинъ не удовлетворилъ серьезнымъ требованіямъ юношей; скоро замѣтили сухость его словъ, собственное безучастіе къ предмету и недостатокъ серьезныхъ знаній. Тѣмъ не менѣе, строго и справедливо оцѣнивъ Надеждина, студенты его любили и, уже не увлекаясь, охотно слушали его рѣчи. Я помню, что Станкевичъ, говоря о недостаткахъ Надеждина, прибавилъ, что „Надеждинъ много пробудилъ въ немъ своими лекціями, и что если онъ (Станкевичъ) будетъ въ раю, то Надеждину за то обязанъ“.

Таковы были надежды и разочарованія, которыя принесъ Бѣлинскому университетъ. Онъ далъ ему новый матеріалъ для пониманія тяжелой русской дѣйствительности. Но онъ же послужилъ просвѣтомъ въ царство нѣмецкой философіи и французской соціальной мысли. Мы видѣли уже, что эти два теченія были господствующими въ то время въ Европѣ. Они сдѣлались руководящими и для московской студенческой молодежи. Образовалось два кружка. Центромъ одного изъ нихъ, къ которому принадлежалъ и Бѣлинскій, былъ Станкевичъ. Душой второго были Герценъ и его другъ Огаревъ. Надъ умами членовъ перваго кружка царила нѣмецкая философія. Второй былъ проникнутъ духомъ французской соціальной мысли. Оба кружка знали другъ о другѣ, но между ними не было симпатій. Гегеліанцамъ съ высоты ихъ всеобъемлющихъ теорій казались мелкими политическія, соціальныя, злободневныя стремленія ихъ товарищей, а этимъ послѣд-

нимъ представлялись слишкомъ отвлеченными, фантастичными и бесплодными споры русскихъ гегеліанцевъ. Кружокъ Станкевича сталъ собираться впервые, когда Бѣлинскій и Станкевичъ были еще студентами.

Біографъ Станкевича вѣрно опредѣляетъ тонъ мыслей, господствовавшихъ въ этомъ кружкѣ, когда въ немъ окончательно установилось влеченіе къ философскимъ занятіямъ, подъ первыми сильными впечатлѣніями идей шеллингова пантеизма. „Какимъ-то торжествомъ, свѣтлымъ радостнымъ чувствомъ исполнилась жизнь, когда указана была возможность объяснить явленія природы тѣми же самыми законами, какимъ подчиняется духъ человѣческій въ своемъ развитіи, закрыть, повидимому, навсегда пропасть, раздѣляющую два міра и сдѣлать изъ нихъ единый сосудъ для вмѣщенія вѣчной идеи и вѣчнаго разума. Съ какою юношеской и благородной гордостью понималась тогда часть, предоставленная человѣку въ этой всемірной жизни! По свойству и праву мышленія, онъ переносилъ видимую природу въ самого себя, разбиралъ ее въ нѣдрахъ собственнаго созданія,—словомъ, становился ея центромъ, судьей и объяснителемъ. Природа была поглощена имъ и въ немъ же воскресала для новаго, разумнаго и одухотвореннаго существованія... Чѣмъ свѣтлѣе отражался въ немъ самомъ вѣчный духъ, всеобщая идея, тѣмъ полнѣе понималъ онъ ея присутствіе во всѣхъ другихъ сферахъ жизни. На концѣ всего возрѣнія стояли нравственныя обязанности, и одна изъ необходимыхъ обязанностей—высвободить въ себѣ самомъ божественную часть міровой идеи отъ всего случайнаго, нечистаго и ложнаго, для того, чтобъ имѣть право на блаженство дѣйствительнаго, разумнаго существованія“.

Какъ извѣстно, съ переѣздомъ Бѣлинскаго въ Петербургъ въ немъ начинается переходъ отъ прежнихъ московскихъ метафизическихъ идеаловъ къ новымъ

общественнымъ. Въ письмѣ отъ 3-го февраля 1840 г. онъ пишетъ:

„Петербургъ былъ для меня страшною скалою, о которую больно стукнулось мое прекраснѣе. Это было необходимо, и лишь бы послѣ стало лучше, я буду благословлять судьбу, загнавшую меня на эти гнусныя финскія болота... Мы весь Божій свѣтъ видѣли въ своемъ кружкѣ“.

Въ письмѣ отъ 13-го іюня 1840 г. еще яснѣе этотъ переходъ. Бѣлинскій уже сознаетъ связь между личностью и обществомъ.

„На насъ обрушилось безалаберное состояніе общества, въ насъ отрицался одинъ изъ самыхъ тяжелыхъ моментовъ общества, силой отторгнутаго отъ своей непосредственности и принужденнаго тернистымъ путемъ итти къ пріобрѣтенію разумной непосредственности, къ *очеловѣченію*... Воспитаніе лишило насъ религіи, обстоятельства жизни (причина которыхъ въ состояніи общества) не дали намъ положительнаго образованія и лишили *всякой* возможности сродниться съ наукой; съ дѣйствительностью мы въ ссорѣ и по праву ненавидимъ и презираемъ ее, какъ она по праву пеневидитъ и презираетъ насъ. Гдѣ же убѣжище намъ?—На необитаемомъ островѣ, которымъ и былъ нашъ кружокъ... Въ Петербургѣ съ необитаемаго острова я очутился въ столицѣ, журналъ поставилъ меня лицомъ къ лицу съ обществомъ, — и Богу извѣстно, какъ много перенесъ я! Для тебя еще не совсѣмъ понятна моя вражда къ *москвѣдушію* (т.-е. къ идеалистическому простодушію), но ты смотришь на одну сторону медали, а я вижу обѣ. Меня убило это зрѣлище общества, въ которомъ властвуютъ и играютъ роли подлецы и дюжинныя посредственности, а все благородное и даровитое лежитъ въ позорномъ бездѣйствіи на необитаемомъ островѣ... Отчего же европеецъ въ страданіи бросается въ общественную дѣятельность и находитъ въ ней выходъ изъ самаго страданія?..“

Нѣтъ болѣе сжатой и яркой картины, рисующей процессъ того знаменитаго „переворота“, о которомъ такъ много писали. Былъ ли уже въ дѣйствительности этотъ поворотъ? Не было ли пресловутое „отреченіе“ Бѣлинскаго неизбѣжнымъ и совершенно естественнымъ логическимъ развитіемъ его мыслей? Дѣйствительность онъ „презиралъ и ненавидѣлъ“ всегда,— и въ московскій, и петербургскій періодъ своей жизни. Съ обобщающимъ умомъ, жадно ищущимъ философской основы, онъ тоже не разставался никогда ни въ Москвѣ, ни въ Петербургѣ. Если въ Москвѣ въ гармоническихъ системахъ легче было не видѣть брешей и трещинъ, портившихъ картину, то на то Москва и была его юностью. То былъ медовый мѣсяцъ молодой ликующей русской мысли, а въ это время все, что нарушаетъ гармонію, кажется такимъ безсильнымъ и легко устранимымъ. Въ дѣйствительности же эти трещины и бреши никогда не были скрыты отъ глазъ Бѣлинскаго. Если въ первый періодъ онъ рѣже и не съ такой болѣзненной силой обращался къ нимъ, а второй понялъ, что съ нихъ и только съ нихъ надо начать, — то это было необходимо, это и дало намъ настоящаго Бѣлинскаго. Только побывавъ на высотахъ, онъ принесъ съ собою внизъ тотъ пламенный энтузіазмъ, который далъ ему силу постоянно измѣрять видимую дѣйствительность съ точки зрѣнія высшихъ идеаловъ, относиться къ язвамъ тогдашней общественной жизни съ беспощадной ненавистью фанатика. Только сдѣлавъ титаническое и бесплодное усиліе, чтобы усмотрѣть въ мірѣ гармонію, можно было уже потомъ такъ благородно ненавидѣть все, что нарушало эту гармонію.

Итакъ, измѣны не было. Была только вторая стадія борьбы. Въ области русской жизни это былъ переходъ отъ примиренія къ страданію или, вѣрнѣе, отъ скрытаго страданія къ открытому. „Любовь моя къ род-

ному, къ русскому, стала грустнѣе: это уже не краснодушный энтузіазмъ, но страдальческое чувство. Все субстанціальное въ нашемъ народѣ велико, необъятно, „но опредѣленіе гнусно, грязно, подло“. Въ области мысли, въ отношеніи къ западнымъ мыслителямъ это былъ переходъ отъ нѣмецкой философіи къ французскимъ соціологамъ. „Съ французами я помирился совершенно. Не люблю ихъ, но уважаю. Ихъ всемірно-историческое значеніе велико. Они не понимаютъ абсолютнаго и конкретнаго, но живутъ и дѣйствуютъ въ ихъ сферѣ“.

Таковъ смыслъ этого „переворота“, который можно считать вполне завершившимся къ началу 1841 года. Теперь Бѣлинскій рѣзко порывалъ съ прошлымъ, самой этой рѣзкостью свидѣтельствуя о томъ, что онъ удержалъ изъ этого прошлаго гораздо больше, чѣмъ думалъ. „Измѣна“ была вовсе не такъ страшна, но Бѣлинскій, сохранивъ вполне свою жажду философскаго единства, хотѣлъ противопоставить свои теперешнія воззрѣнія прежнимъ, какъ два совершенно противоположныхъ міросозерцанія. Ему тяжело теперь вспомнить свою выходку противъ Мицкевича, благороднаго и великаго поэта, котораго онъ печатно называлъ крикуномъ и у котораго онъ хотѣлъ „отнять священное право оплакивать паденіе того, что дороже ему всего въ мірѣ и въ вѣчности—его родины“... Ему тягостно вспомнить, что онъ „съ художественной точки зрѣнія“ осудилъ „Горе отъ ума“, не догадываясь, что „это — благороднѣйшее гуманическое произведеніе, энергическій и (притомъ еще первый) протестъ противъ гнусной расейской дѣйствительности, противъ чиновниковъ, взяточниковъ, баръ-развратниковъ“... Когда говорятъ о вліяніяхъ, содѣйствовавшихъ новому направленію мыслей Бѣлинскаго, то указываютъ цѣлый рядъ причинъ. Столкновеніе съ Герценомъ, въ которомъ Бѣлинскій почувствовалъ

впервые равнаго себѣ по силѣ противника изъ другого кружка, російская дѣйствительность, которую онъ увидалъ въ Петербургѣ, наконецъ, вліяніе французскихъ писателей соціальнаго направленія,—вотъ что заставило его съ высотъ гегелевской философіи спуститься въ міръ дѣйствительности. Несомнѣнно, что всѣ указанные факты имѣли мѣсто. Но не слѣдуетъ забывать, что и съ російской дѣйствительностью, и съ герценовскимъ кружкомъ, и съ французскими идеями Бѣлинскій сталкивался и въ московскій періодъ. Если тогда онъ отвернулся отъ нихъ, а теперь подхватилъ и горячо воспринялъ все, что вытекало изъ нихъ, то причиной былъ прежде всего отмѣченный выше естественный ходъ его собственнаго развитія.

Кружокъ Бѣлинскаго теперь расширился. Въ немъ ясно обозначились тѣ черты, которыя стали характерными для такъ-называемыхъ „людей сороковыхъ годовъ“. Герценъ и Бѣлинскій, прежде противники, а теперь друзья, Боткинъ и Грановскій были членами этого новаго кружка, въ которомъ слились лучшія стороны обоихъ прежнихъ кружковъ: увлеченія гегельянцевъ и эстетовъ и соціально-политическій пылъ общественниковъ. Этотъ кружокъ стали называть „западнымъ“ въ противоположность тогда же возникшему славянофильству. Съ 1841 года началось изданіе „Москвитянина“, во главѣ котораго стояли Погодинъ и Шевыревъ. Въ началѣ 1842 года вышла первая книжка съ своего рода манифестомъ Шевырева, открывшимъ, если можно такъ выразиться, официально славянофильскую школу. Въ этой статьѣ заключались намеки на „литературнаго бобыля“, одѣтаго „въ броню наглости“, подъ коимъ разумѣлся Бѣлинскій. Последній отвѣчалъ въ 3-й книжкѣ „Отечественныхъ Записокъ“ статью „Педантъ, литературный типъ“, и бой загорѣлся, — бой, богатый послѣдствіями. „Педантъ“

задѣлъ враговъ, и вражда надолго стала непримиримой, хотя въ началѣ друзья Бѣлинскаго были въ хорошихъ мирныхъ отношеніяхъ съ такими вождями славянофильства, какъ Хомяковъ и Кирѣевскіе. Окончательный разрывъ московскихъ друзей Бѣлинскаго съ славянофилами произошелъ позднѣе; около середины 40-хъ годовъ Бѣлинскій развернулся во всю ширь своего таланта. „Отечественныя Записки“ стали могучимъ орудіемъ развитія русскаго общественнаго мнѣнія, образовательной силой, воспитывавшей молодое поколѣніе, и статьи Бѣлинскаго, даже безъ подписи автора, читающая масса легко узнавала. А между тѣмъ жизненный путь великаго страстотерпца русской литературы по-прежнему былъ усыянъ терніями. Его письма отъ 1843 года полны мрачнымъ отчаяніемъ. Онъ бился въ тискахъ нужды и цензуры. „Все лучшее“ безпощадно вырѣзывалось. Все то, чѣмъ не дорожилъ критикъ, пропускалось цѣликомъ. Духовные жандармы этой эпохи проникали въ самое сердце, чтобы наносить самые больные, самые жестокіе удары. „Писать становится невозможно и невозможно“, „огадили мнѣ русскую литературу и вранье о ней сдѣлали пыткой“,—таковы жалобы, наполняющія письма этого времени. А молчать нельзя было, нужно было писать, заниматься „враньемъ“, такъ какъ нужда не ждетъ. Нетрудно догадаться, что переживалъ при этомъ чловѣкъ такого душевнаго склада, какъ Бѣлинскій. Одинъ разъ Панаевъ засталъ Бѣлинскаго, ходящаго по комнатѣ въ волненіи „и съ усиліемъ махающаго правой рукой“. На вопросъ Панаева Бѣлинскій сказалъ: „Рука отекала отъ писанія... Я часовъ восемь сряду писалъ, не вставая... Если бы вы знали, какое вообще мученіе повторять зады, твердить одно и то же—все о Лермонтовѣ, Гоголѣ и Пушкинѣ, не смѣть выходить изъ опредѣленныхъ рамокъ—все искусство да искусство! Ну, какой я литературный критикъ! Я рожденъ памфле-

тистомъ,—и не смѣть пикнуть о томъ, что накипѣло на душѣ, отчего сердце болитъ!”

Послѣдніе годы жизни не принесли отдыха и радости Бѣлинскому. Нужда и гнетъ николаевскаго режима до могилы остались его спутниками. Въ 1846 году онъ покидаетъ „Отечественныя Записки“ вслѣдствіе разногласій съ редакціей и переходитъ въ „Современникъ“, въ который ему удастся вдохнуть новыя силы, собравъ подъ его знамя своихъ друзей. Но и здѣсь онъ не находитъ себѣ матеріальнаго обезпеченія и нравственнаго успокоенія. И здѣсь у него не налаживаются согласныя отношенія съ редакціей. Наконецъ, въ маѣ 1847 года измученному борьбой, больному писателю удается вырваться за границу. Поздній отдыхъ не помогъ ему. По его возвращеніи болѣзнь возобновилась: „Я хрипѣлъ и задыхался,—пишетъ онъ объ одномъ приступѣ болѣзни,—словомъ, это былъ вечеръ хуже самыхъ худшихъ дней прошлой зимы, когда я безпрестанно умиралъ“. А между тѣмъ тучи сгущались. Зловѣщіе симптомы говорили, что приближается самое мрачное время николаевскаго царствованія. Стали носиться какіе-то неблагопріятные для Бѣлинскаго слухи, „все какъ-то душнѣе и мрачнѣе,—говоритъ Панаевъ,—становилось кругомъ него, статьи его разсматривались все строже и строже“. Наступалъ 1848 годъ,—годъ великихъ броженій въ Европѣ и мрачной реакціи у насъ,—наступали послѣднія самыя ужасныя семь лѣтъ николаевскаго царствованія. Болѣзнь Бѣлинскаго становилась все мучительнѣе. „Къ веснѣ,—разсказываетъ Панаевъ,—болѣзнь начала дѣйствовать быстро и разрушительно. Щеки его провалились, глаза потухали, изрѣдка только горя лихорадочнымъ огнемъ, грудь впала, онъ еле передвигалъ ноги и начиналъ дышать страшно“.

26-го мая, въ шестомъ часу утра, его не стало. Онъ „умеръ во-время“, не доставивъ жандармамъ удоволь-

ствія и возможности стноить его въ тюрьмѣ и навѣявъ на нихъ чувство разочарованія. Его имя долго послѣ его смерти нельзя было упоминать. Нѣсколько словъ въ обоихъ журналахъ, почти созданныхъ имъ, были единственнымъ надгробнымъ словомъ о великомъ страстотерпцѣ русской литературы. По тому времени они не могли сказать больше. Только когда миновало мрачное семилѣтіе,—въ 1856 году было впервые снова упомянуто имя Бѣлинскаго, до тѣхъ поръ оставшагося безыменнымъ „критикомъ 40-хъ годовъ“.

III.

„Литературныя мечтанія“.

Основная точка зрѣнія Бѣлинскаго въ этой статьѣ.—Взгляды на народъ, на официальную дѣйствительность, на русскую исторію, на прошлое русской литературы, на искусство.—Общественный элементъ въ „Литературныхъ мечтаніяхъ“.—Либерализмъ и социализмъ.

„Не ищите въ моей „Элегіи въ прозѣ“ строгаго логическаго порядка. Элегисты никогда не отличались ольшою правильностью мышленія. Я имѣлъ цѣлью высказать нѣсколько истинъ, частью уже сказанныхъ частью мною самимъ замѣченныхъ; но не имѣлъ времени хорошенько обдумать и обработать свою статью; у меня есть любовь къ истинѣ и желаніе общаго блага, но, можетъ-быть, нѣтъ основательныхъ познаній“...

Такими словами заканчиваются „Литературныя мечтанія“. Идеи развиваются органически. Всякая новая мысль, всякое новое умственное завоеваніе является результатомъ продолжительной напряженной работы общества. Но мы привыкли приурочивать начало каждой новой литературной эры къ конкретнымъ фактамъ, къ опредѣленному произведенію, въ которомъ особенно рѣзко отлились стремленія и чаянія эпохи, которое надолго впередъ опредѣлило задачи общества. Съ этой точки зрѣнія знаменитую „Элегію“ Бѣлинскаго можно поставить во главѣ новѣйшей русской

литературы. Она неявно и смутно намѣчаетъ основы того міровоззрѣнія, которое въ теченіе полувѣка оставалось господствующимъ въ русской литературѣ, которое не уступило своей позиціи и въ настоящую минуту, несмотря на поднимающіяся новыя волны, идущія изъ другихъ источниковъ.

„Литературныя мечтанія“! Наивными представляются теперь многіе выводы и обобщенія этой „Элегіи“. Давно уже тѣ, кто считали Бѣлинскаго своимъ духовнымъ предкомъ, освободились отъ officialнаго оптимизма, отъ идеализаціи русской старины, отъ папегриковъ старому режиму, отъ метафизической догматики, отъ всего того, что еще сквозило, какъ наслѣдіе прошлаго, въ этомъ первомъ пламенномъ порывѣ къ будущему. И, тѣмъ не менѣе, отъ обаянія этой странной „Элегіи“, полной противорѣчій и туманныхъ мыслей, не вполне свободно и наше время, а для поколѣнія, вступающаго въ жизнь въ 30-е годы прошлаго вѣка, она была провозвѣстницей новой жизни, могучимъ призывомъ революціонной трубы. „У меня есть любовь къ истинѣ и желаніе общаго блага“. Эта двучленная формула сжато опредѣляетъ не только благородное чувство, которымъ согрѣто первое крупное произведеніе Бѣлинскаго, но главные стимулы всей его послѣдующей литературной дѣятельности. Во многомъ мы уже не такъ смотримъ на „истину“ и иначе понимаемъ „общее благо“, но у него была любовь къ первой и жажда второго, и эта „любовь“ и это „желаніе“ способны заражать и въ настоящее время пламеннымъ энтузіазмомъ, согрѣвавшимъ ихъ, хотя наука и общественные идеалы далеко ушли впередъ, и мы вполне вѣримъ великому родоначальнику новѣйшей нашей литературы, что онъ не „имѣлъ времени хорошенько обдумать свою статью“ и у него не было „основательныхъ познаній“.

Постараемся же разобраться въ главныхъ мысляхъ

„Элегій“; въ ея лирической безпорядочности, среди ея туманныхъ мечтаній, не свободныхъ отъ стараго романтическаго паэоса, поищемъ руководящей нити,— нити, ведущей къ литературнымъ воззрѣніямъ и общественнымъ стремленіямъ будущаго.

Основная идея философіи Бѣлинскаго это — метафизическая идея о существованіи высшаго абсолютнаго невидимаго міра. Эта идея завѣщана метафизическому міросозерцанію еще теологическимъ. Если общество отрѣшилось отъ традиціоннаго церковнаго представленія о Богѣ, оно не отказалось отъ вѣры въ существованіе высшаго міра, откуда исходитъ таинственное вліяніе на жизнь видимаго міра. Могли измѣниться пути, ведущіе къ познанію Бога. Откровеніе смѣнила философія, традицію — апріорная дѣятельность разума, церковь и духовенство уступили свое мѣсто мыслителямъ, но у теологовъ и метафизиковъ была общая основа — подчиненіе авторитету, догматизмъ, вѣра въ существованіе абсолютныхъ истинъ. И тѣ, и другіе исходятъ изъ вѣрованій, изъ апріорныхъ построеній. Если средневѣковой человѣкъ въ подтвержденіе своихъ убѣжденій ссылался на папу, на твореніе святыхъ отцовъ, наконецъ, просто на традицію, на вѣрованія и обычай родителей, то французскій философъ XVIII вѣка ссылался на доводы разума, на „естественныя“ потребности человѣка, на „естественную“ справедливость. И тотъ, и другой придавали абсолютное значеніе своимъ убѣжденіямъ. И для того, и для другого они были вѣрой. И тотъ, и другой были склонны провѣрять эти убѣжденія фактами дѣйствительной жизни, но ставятъ свои вѣрованія выше фактовъ, и, при столкновеніи первыхъ со вторыми, готовы были отвергнуть эти послѣдніе или провозгласить ихъ противоестественными. Бѣлинскій весь проникнутъ этой метафизической вѣрой. Картина міровой жизни, нарисованная имъ, не результатъ упорной на-

учной работы, не обобщеніе фактовъ, тщательно про-
вѣренное опытомъ и наблюденіемъ, а принятое на-
вѣру ученіе нѣмецкой идеалистической философіи.
„Весь безпредѣльный прекрасный Божій міръ,—гово-
ритъ онъ, варьируя слова Шеллинга, — есть не что
иное, какъ дыханіе единой, вѣчной идеи (мысли еди-
наго, вѣчнаго Бога), проявляющейся въ безчислен-
ныхъ формахъ, какъ великое зрѣлище абсолютнаго
единства въ безконечномъ разнообразіи. Только пла-
менное чувство смертнаго можетъ постигать, въ свои
свѣтлыя мгновенія, какъ велико *тѣло* этой души все-
ленной, сердце котораго составляютъ громадныя солнца
жилы—пути млечныя, а кровь—чистый эфиръ“. Такова
основа философіи Бѣлинскаго, заимствованная у Шел-
линга, выраженная съ такимъ почти религіознымъ
энтузіазмомъ, что именно у нашего писателя больше
чѣмъ у кого-нибудь проявляется родство теологиче-
скаго и метафизическаго міровоззрѣній. Абсолютный,
вѣчный міръ—высшая, божественная идея.

Съ этой основной мыслью или вѣрой Бѣлинскаго
связаны и всѣ другія идеи его „Элегій“. Здѣшній,
земной міръ не является цѣлью самъ по себѣ, онъ—
только отраженіе божественной идеи, онъ — средство
для ея постиженія. И природа и исторія человѣче-
ства—только ключъ, открывающій дверь, ведущую въ
царство этой вѣчной идеи. Она воплощается въ бле-
стящее солнце, въ великолѣпную планету, въ блудя-
щую комету; она живетъ и дышитъ и въ бурныхъ
приливахъ и отливахъ морей, и въ свирѣпомъ ураганѣ
пустынь, и въ шелестѣ листьевъ, и въ журчаньи
ручья, и въ рыканіи льва, и въ слезѣ младенца, и въ
улыбкѣ красоты, и въ волѣ человѣка, и въ стройныхъ
созданіяхъ генія... Кружится колесо времени съ бы-
стротою непостижимою, въ безбрежныхъ равнинахъ
неба потухаютъ свѣтила, какъ истощившіеся вул-
каны, и зажигаются новыя; на землѣ проходятъ роды

и поколѣнія, замѣняются новыми, смерть истребляетъ жизнь, жизнь уничтожаетъ смерть, силы природы борются, враждуютъ и умиротворяются силами посредствующими, и гармонія царствуетъ въ этомъ вѣчномъ броженіи, въ этой борьбѣ началъ и веществъ. Такъ идея живетъ; мы ясно видимъ это нашими слабыми глазами. Средневѣковой теологъ считалъ земную жизнь юдолюю печали. Онъ видѣлъ ея смыслъ только въ томъ, что она служила подготовкой къ вѣчной истинной жизни. Сама по себѣ она не представляетъ цѣнности. Нецѣлесообразности и противорѣчія этой жизни не пробуждали въ немъ тоски мысли. Въ будущей жизни эти противорѣчія должны были найти свое примиреніе. Мудрость и благость Божія раскрывались чрезъ испытанія. Метафизика удержала это стремленіе къ гармоническому міросозерцанію, этотъ примирительный взглядъ на земную дѣйствительность, на природу и исторію. Для нея они тоже несовершенное проявленіе совершенной субстанціи, живущей особой высшей жизнью.

Эстетическія воззрѣнія Бѣлинскаго вытекали изъ этого же общаго философскаго представленія. На долю искусства вполнѣ согласно съ духомъ шеллинговскаго ученія выпадаетъ роль быть посредникомъ между вѣчнымъ и измѣнчивымъ, между божественной идеей и здѣшнимъ міромъ. Назначеніе искусства ввести человека въ область абсолютнаго, раскрыть передъ нимъ завѣсу вѣчности, показать ея отраженіе въ каждомъ явленіи жизни и природы. Бѣлинскій далекъ здѣсь отъ своихъ будущихъ воззрѣній на искусство и поэзію. Черезъ десять лѣтъ они станутъ въ его глазахъ могучими орудіями общественной борьбы, слугами земной дѣйствительности, элементами быстро бѣгущей, мѣняющейся жизни. Въ „Литературныхъ мечтаніяхъ“ онъ — преемникъ романтической эстетики, предшественникъ эстетической доктрины символизма. Кра-

сота и ея воплощеніе въ твореніяхъ искусства — ключъ къ постиженію вѣчныхъ тайнъ, лежащихъ за гранями опыта и позитивнаго знанія. Какое назначеніе и какая цѣль искусства? *Изобразить, воспроизводить въ словъ, въ звуки, въ чертахъ и краскахъ идею всеобщей жизни и природы...* Искусство есть выраженіе великой идеи вселенной въ ея безконечно разнообразныхъ явленіяхъ! Прекрасно было гдѣ-то сказано, что *поэзия есть краткій эпизодъ изъ безконечной поэмы судебъ человеческихъ!* Искусство поэта должно заключаться въ томъ, чтобы дать читателю почувствовать дыханіе жизни, одушевляющей вселенную. Эстетическое же наслажденіе читателя должно заключаться „въ минутномъ забвеніи нашего „я“, въ живомъ сочувствіи съ общей жизнью“.

Съ рѣдкой чуткостью и проникательностью Бѣлинскій поставилъ въ этой статьѣ всѣ вопросы, которымъ въ 30-е и 40-е годы суждено было волновать умы мыслящей части русскаго общества. И онъ озарилъ и прошлое, и настоящее русской жизни тѣмъ примиряющимъ свѣтомъ, который являлся неизбѣжнымъ слѣдствіемъ этой заимствованной горячей вѣры въ мировую гармонию, въ существованіе высшей благой идеи, управляющей міромъ. Изъ этой вѣры вытекаетъ его взглядъ на народъ и народность, вполне гармонизировавшій съ шеллингянскимъ ученіемъ и совпадавшій съ будущимъ ученіемъ славянофиловъ, которымъ впоследствии Бѣлинскій объявилъ беспощадную войну, когда понялъ, куда ведетъ его стремленіе къ гармоническому примиряющему взгляду на міръ. Исторія человѣчества есть раскрытіе божественной идеи. Каждый народъ выполняетъ свою долю въ этой общей жизни и работѣ. „Каждый народъ... играетъ въ великомъ семействѣ человѣческаго рода свою особенную назначенную ему Провидѣніемъ роль и вноситъ въ общую сокровищницу его успѣховъ на поприщѣ самосовершенствованія свою долю, свой вкладъ, другими

словами: каждый народъ выражаетъ собою одну какую-нибудь сторону жизни человѣчества“. Признаніе высокаго значенія народности, преклоненіе передъ народомъ само по себѣ ничего не говоритъ. Оно входитъ въ ученіе самыхъ разнообразныхъ, противоположныхъ другъ-другу школъ. Болѣе точно взгляды на народность выясняются, когда отъ общаго принципа мыслитель переходитъ къ опредѣленію самаго понятія народности, къ методамъ выясненія національных свойствъ и стремленій. Есть два пути въ этомъ направленіи. Можно отнестись къ народу какъ къ младенцу, не признавать за нимъ никакихъ правъ въ выясненіи своей собственной національной фizioноміи и возложить эту задачу исключительно на мыслящую личность, на интеллигентную часть общества. Словомъ, можно держаться принципа „*tout pour le peuple*“, но не слѣдовать при этомъ принципу „*tout par le peuple*“. Но можно держаться и противоположнаго пути, и опредѣленіе народа какъ извѣстнаго организма вывести изъ тщательнаго изученія самого народа, признавъ его единственнымъ источникомъ, единственнымъ судьей въ своемъ собственномъ дѣлѣ. Странно было бы требовать, чтобы въ эпоху рабства народной массы Бѣлинскій сталъ на второй путь. И западники, и славянофилы одинаково повинны въ интеллигентскомъ субъектизмѣ по отношенію къ народу. И та, и другая школы были склонны навязывать народу свое личное міросозерцаніе. Бѣлинскій въ своей „Элегіи“ еще не могъ предвидѣть той формы, въ которую облекся вскорѣ этотъ ставшій жгучимъ вопросъ. Въ его „Элегіи“, полной примиряющаго гармоническаго взгляда на міръ, еще не чувствуется пропасти тамъ, гдѣ она фактически уже образовалась. Онъ не предвидитъ еще возможности столкновенія, для него интеллигентное общество и народная масса—одно цѣлое. Но нетрудно понять, что и въ этомъ вопросѣ у Бѣлинскаго пре-

обладаетъ та же точка зрѣнія мыслителя, склоннаго къ апріорнымъ построеніямъ, къ субъективнымъ вѣрованіямъ. Для него народъ — младенецъ, несознанныя стремленія котораго выражаются интеллигенціей. Въ его примиряющей рѣчи чувствуется гордый мыслитель, претендующій на монополію толкованія воли народной. „Наша національная фізіономія всего больше сохранилась въ низшихъ слояхъ народа; посему наши писатели, разумѣется, владѣющіе талантомъ, бываютъ народны, когда изображаютъ въ романѣ или драмѣ нравы, обычаи, понятія и чувствованія черни. Но развѣ одна чернь составляетъ народъ? Ничуть не бывало. Какъ голова есть важнѣйшая часть человѣческаго тѣла, такъ среднее и высшее сословія составляютъ народъ по преимуществу. Знаю, что человѣкъ во всякомъ состояніи есть человѣкъ, что простолюдинъ имѣетъ такіе же страсти, умъ и чувство, какъ и вельможа, и потому такъ же, какъ и онъ, достоинъ поэтического анализа, но высшая жизнь народа преимущественно выражается въ его высшихъ слояхъ или, вѣрнѣе, въ цѣлой идеѣ народа“. Наше общество еще не созрѣло, наша литература еще слишкомъ находится подъ вліяніемъ Запада, чтобы быть правильнымъ выраженіемъ народнаго духа. Но придетъ время, просвѣщеніе широкой рѣкой разольется по русской землѣ, умственная фізіономія народа выяснится, и тогда мыслящей части общества не трудно будетъ наложить печать народнаго духа на свои произведенія.

Легко видѣть, что Бѣлинскій является оптимистомъ, безсознательнымъ панегиристомъ господствующихъ классовъ. Онъ ждетъ просвѣщенія и счастья народнаго только отъ нихъ. Въ его глазахъ литература, творческій гений, бюрократія и высшія сословія, — словомъ, все то, что возвышается надъ народомъ, сливаются въ одну общую благотворную силу. Нигдѣ нѣтъ протеста противъ крѣпостного права, нигдѣ мысли объ участіи

самого народа въ этой великой работѣ. „У насъ скоро будетъ *свое* русское посвѣщеніе... Намъ легко это сдѣлать, когда знаменитые сановники, сподвижники царя на трудномъ поприщѣ народоправленія, являются посреди любознательнаго юношества въ центральномъ храмѣ русскаго просвѣщенія, возвѣщать ему священную волю монарха, указывать путь къ просвѣщенію въ духѣ *православія, самодержавія* и народности ¹⁾... Благодарное дворянство, наконецъ, вполне увѣрилось въ необходимости давать своимъ дѣтямъ образованіе прочное, основательное, въ духѣ вѣры, вѣрности и національности... Быстро образуется и купеческое сословіе и сближается въ семъ отношеніи съ высшимъ... Дѣятельное участіе начинаетъ принимать въ святомъ дѣлѣ отечественнаго просвѣщенія и наше духовенство... Да! въ настоящемъ времени зрѣютъ сѣмена для будущаго“.

Этимъ же оптимизмомъ и примиряющимъ настроеніемъ, рожденнымъ на высотахъ управляющей міромъ божественной идеи, проникнуты и воззрѣнія Бѣлинскаго на ходъ русской исторіи. Въ своемъ преклоненіи передъ народомъ онъ находитъ радостное удовлетвореніе въ этой исторіи, которая, по волѣ Провидѣнія, вела русскій народъ къ осуществленію его назначенія въ общей жизни человѣчества. Іоаннъ III научилъ его бояться, любить и слушаться своего царя. Но при немъ жизнь народа хотя и была самобытной и характерной, зато односторонней и изолированной. Русскому народу нужно было составить „часть великаго семейства че-

¹⁾ Намекъ на посѣщеніе Уваровымъ московскаго университета въ 1832 году. Эту тираду, какъ и цѣлый рядъ историческихъ и политическихъ замѣчаній, такъ мало соответствующихъ всей послѣдующей дѣятельности Бѣлинскаго, С. А. Венгеровъ объясняетъ вліяніемъ Надеждина, который въ качествѣ редактора иногда дѣлалъ въ статьи сотрудниковъ даже вставки въ патріотическомъ духѣ. *Венгеровъ*. Полн. собр. сочиненій Бѣлинскаго. I. Стр. 426—429; 449.

ловѣческаго рода“. Петръ I, „царь мудрый и великій, кроткій безъ слабости, грозный безъ тиранства“, выполнилъ эту задачу. Петръ, однако, слишкомъ торопился, масса народа не поспѣла за нимъ, „осталась тѣмъ, что и была“, народъ и общество пошли врозь. Но при Екатеринѣ II „проявился духъ русскій во всей своей богатырской силѣ“, народъ кое-какъ „освоился съ тѣсными и несвойственными ему формами новой жизни“. Въ чемъ же видитъ Бѣлинскій проявленіе русскаго народнаго духа при Екатеринѣ Великой? „Вспомните этихъ важныхъ радушныхъ бояръ, дома которыхъ походили на всемірныя гостиницы, куда приходили званый и незваный и, не кланяясь хлѣбосольному хозяину, садились за столы дубовые, за скатерти бранныя, за яства сахарныя, за питья медовыя; этихъ величавыхъ и гордыхъ вельможъ, которые любили жить нараспашку, жилища которыхъ походили на царскія палаты русскихъ сказокъ... Вспомните Суворова, который не зналъ войны, но котораго война знала; Потемкина, который грызъ ногти на пирахъ и между шутокъ рѣшалъ въ умѣ судьбы народовъ“... Въ настоящее время нѣтъ надобности доказывать поверхностный и ненаучный характеръ этихъ историческихъ характеристикъ, приближающихся къ пониманію славянофиловъ и даже официальной народности. Не въ нихъ, конечно, заключается значеніе „Элегій“ Бѣлинскаго.

Остановимся еще на литературныхъ взглядахъ Бѣлинскаго, и основныя мысли его „Элегій“ будутъ изчерпаны. Литература, по его мнѣнію, должна быть выраженіемъ — „символомъ внутренней жизни народа“. Конечно, народа въ смыслѣ Бѣлинскаго, — народа, всей своей исторической жизнью раскрывающаго одну изъ сторонъ божественной идеи. Неудивительно, что въ связи со своимъ общимъ міросозерцаніемъ Бѣлинскій не склоненъ отводить почетную роль поэтическимъ твореніямъ, которыхъ задача заключалась въ борьбѣ

съ отрицательными явленіями живой дѣйствительности. Даже въ сатирическихъ произведеніяхъ, рожденныхъ протестующимъ вдохновеніемъ, онъ старается уловить признаки и подтвержденіе разумности высшей идеи. И если рѣзкій протестъ сатирика являлся вызовомъ этой гармоніи, Бѣлинскій исключалъ его изъ числа писателей, которыхъ считалъ достойными стоять въ храмѣ истиннаго искусства. Даже отъ комедіи онъ отнимаетъ ея общественное, моральное значеніе, уничтожаетъ ея право борьбы съ зломъ, исправленія порока. „Предметъ комедіи не есть исправленіе нравовъ или осмѣяніе какихъ-нибудь пороковъ общества, яѣтъ, комедія должна живописать несообразность жизни съ цѣлю, должна быть плодомъ горькаго негодованія, возбуждаемаго униженіемъ человѣческаго достоинства, должна быть сарказмомъ, а не эпиграммою, судорожнымъ хохотомъ, а не веселою усмѣшкой, должна быть писана желчью, а не разведенною солью, — словомъ, должна обнимать жизнь въ ея высшемъ значеніи, т.е. въ ея вѣчной борьбѣ между добромъ и зломъ, любовью и эгоизмомъ“. Фонвизинъ не былъ комикомъ, потому что въ его драматическихъ произведеніяхъ не чувствуется „присутствія идеи вѣчной жизни“. Мы уже приводили взглядъ Бѣлинскаго на назначеніе поэта. Въ старомъ спорѣ между сторонниками безцѣльной и тенденціозной поэзіи онъ рѣшительно становится на сторону первыхъ. „Можетъ ли призваніе художника согласиться съ какой-нибудь заранѣе предположенной цѣлью, какъ бы ни была прекрасна эта цѣль? Этого мало: можетъ ли художникъ унизиться, нагнуться, такъ сказать, къ публикѣ, которая была бы ему по колѣна и потому не могла бы его понимать? Положимъ, что и можетъ. Тогда другой вопросъ: можетъ ли онъ въ такомъ случаѣ оставаться художникомъ въ своихъ созданіяхъ? Безъ всякаго сомнѣнія, нѣтъ“. Изъ этого взгляда исходитъ авторъ „Элегій“ при оцѣнкѣ отдѣльныхъ

поэтовъ. Чѣмъ выше гений поэта, тѣмъ глубже и обширнѣе обнимаетъ онъ природу и тѣмъ съ большимъ успѣхомъ представляетъ намъ ее въ ея высшей связи и жизни. Поэтому Шекспиръ, „великій, божественный, недостижимый“, „царь чародѣевъ“, взявшій „равную дань съ добра и зла“, есть величайшій поэтъ. Тогда какъ Байронъ „взвѣсилъ ужасъ и страданіе“, выразилъ „только муки сердца, адъ души“, т.-е. постигъ „только одну сторону бытія вселенной“; тогда какъ Шиллеръ „показалъ одно прекрасное жизни“, Шекспиръ „подсмотрѣлъ въ своемъ вдохновенномъ ясновидѣніи біеніе пульса вселенной“. Это „безпристрастіе, эта холодность поэта, который какъ-будто говоритъ вамъ: такъ было, а впрочемъ, мнѣ какое дѣло! есть высочайшій зенитъ художественнаго совершенства, есть истинное творчество“. Эту же мѣрку прилагаетъ Бѣлинскій и къ оцѣнкѣ русскихъ писателей. Его „Элегія“—первая серьезная попытка дать систематическій очеркъ исторіи русской литературы. И какъ ни субъективны оцѣнки поэтовъ у Бѣлинскаго, какъ ни далека отъ насъ его основная точка зрѣнія, но даже въ этомъ наброскѣ, въ этомъ первомъ полулирическомъ обзорѣ почти всѣ главныя характеристики сохранили свое значеніе до нашего времени, а большинство поэтовъ вошло, повидимому, навсегда въ исторію литературы именно въ томъ толкованіи, которое имъ впервые придалъ Бѣлинскій. Эта краткая исторія „русской литературы“ была откровеніемъ для своего времени. Она свергала авторитеты, освященные временемъ. Критикъ не боялся подходить со своими свѣжими воззрѣніями къ рутиннымъ взглядамъ, смѣло производилъ переоцѣнку всѣхъ цѣнностей.

Кантемира и Тредьяковскаго онъ уничтожилъ рѣзкимъ, саркастическимъ отзывомъ. Прославленные сатиры перваго были скорѣе плодомъ ума и холодной наблюдательности, чѣмъ живого и горячаго чувства.

Тредьяковскій не имѣлъ ни ума, ни чувства, ни таланта. Ломоносовъ дорожъ критику, какъ доказательство того, что „человѣкъ есть человѣкъ во всякомъ состояніи“, что геній умѣетъ торжествовать надъ всѣми препятствіями, что русскій способенъ ко всему прекрасному и великому не менѣе всякаго европейца. Ломоносовъ — это Петръ нашей литературы. Но съ нимъ случилось то же, что и съ Петромъ. Прельщенный блескомъ иноземнаго просвѣщенія, онъ закрылъ глаза для родного. Онъ оставилъ безъ вниманія народныя пѣсни и сказки. Подражаніе погубило его. Его цвѣты ярки, роскошны, но не душисты; они безжизненны. Его языкъ не былъ чисто народнымъ. Создать „языкъ невозможно, ибо его творитъ народъ“. Сумароковъ при своей рабской подражательности не имѣлъ и искры ломоносовскаго таланта. Это былъ „жалкій писака“. Царствованіе Екатерины — величественная и смѣлая эпопея. Державинъ былъ первый народный оригинальный поэтъ, несмотря на подражательный характеръ его одъ: „уму русскому былъ данъ просторъ... великая жена умѣла сродниться съ духомъ своего народа“. Державинъ — „это полное выраженіе, живая лѣтопись, торжественный гимнъ, пламенный диѳирамбъ вѣка Екатерины“ съ его гордостью и побѣдами. Мы уже упоминали, что къ Фонвизину Бѣлинскій стнесся отрицательно. Его дураки смѣшны и отвратительны, потому что „они не созданія фантазіи, а слишкомъ вѣрные списки съ натуры“. Его умные — „куклы, говорящія заученныя правила благонравія“. И все это потому, что „авторъ хотѣлъ учить и исправлять“. Сочиненія Хераскова вполнѣ заслуженно казули въ Лету. Онъ не былъ поэтомъ. Карамзинъ отмѣтилъ своимъ именемъ цѣлую эпоху въ нашей словесности. Его вліяніе было огромно. Но онъ тоже не былъ народенъ. Реформа языка, произведенная имъ, была далека отъ совершенства. Онъ сдѣлалъ нашъ языкъ въ значительной сте-

пени сколкомъ съ французскаго, не прислушивался къ языку простолюдиновъ, не изучалъ родныхъ источниковъ и только въ своей исторіи исправилъ эту ошибку. Въ своихъ сочиненіяхъ онъ рѣдко бывалъ искрененъ и естественъ. Слезливость нерѣдко портила лучшія страницы его исторіи. Его „Письма русскаго путешественника“ наполнены пустяками, рассказами о томъ, гдѣ и какъ онъ обѣдалъ, о томъ, что знаменитости, которыхъ онъ видѣлъ, всѣ добры и наслаждаются спокойствіемъ совѣсти и ясностью духа. Имя Карамзина безсмертно, но сочиненія его, кромѣ „Исторіи“, умерли и не воскреснуть. Крыловъ—„гениальный поэтъ русскій“, продуктъ народнаго духа. Его басни—лучшее доказательство того, что литература непременно должна быть народной, если хочетъ быть прочной и вѣчной. Жуковскій былъ Колумбомъ нашего отечества. Онъ указалъ ему на невѣдомую до тѣхъ поръ англійскую и нѣмецкую литературу. Его нельзя назвать подражателемъ. Онъ писалъ бы точно такъ же, если бы и не зналъ нѣмцевъ. Но у него нѣтъ міровыхъ идей. Онъ не былъ поэтомъ собственно русскимъ, „имя котораго можно было бы провозгласить на европейскомъ турнирѣ, гдѣ соперничаютъ народными славами“. Третье десятилѣтіе XIX вѣка Бѣлинскій называетъ пушкинскимъ періодомъ. Онъ былъ ознаменованъ движеніемъ жизни въ высочайшей степени. „Въ это десятилѣтіе мы перечувствовали, перемыслили и пережили всю умственную жизнь Европы... Мы обо всемъ пересудили, обо всемъ переспорили, все усвоили себѣ, ничего не взростивши, не взлѣлѣявши, не создавши сами“. Вотъ почему это время не оправдало надеждъ, которыми оно было встрѣчено. Уцѣлѣлъ одинъ Пушкинъ, всѣ другія имена исчезли. Пушкинъ былъ совершеннымъ выраженіемъ своего времени. „Одаренный высокимъ поэтическимъ чувствомъ и удивительною способностью принимать и отражать всѣ возможныя

ощущенія, онъ перепробовалъ всѣ тоны, всѣ лады, всѣ аккорды своего вѣка... Онъ былъ выраженіемъ современнаго ему міра, представителемъ современнаго ему человѣчества—но міра русскаго, но человѣчества русскаго¹⁾. Однако въ послѣднихъ его произведеніяхъ критикъ видитъ свидѣтельство упадка его творчества. Пушкинъ царствовалъ цѣлое десятилѣтіе, но теперь „онъ умеръ или обмеръ на время“. Общій выводъ критика: у насъ нѣтъ литературы. Державинъ, Пушкинъ, Крыловъ и Грибоѣдовъ,—вотъ всѣ ея представители. Новый періодъ, послѣ Пушкина, не имѣетъ главы, не имѣетъ фізіономіи. Но этотъ выводъ не приводитъ критика въ отчаяніе. Онъ заканчиваетъ свою „Элегію“ горячей вѣрой въ наступленіе вѣка просвѣщенія и въ близкій расцвѣтъ настоящей литературы, которая явится выраженіемъ духа могучаго русскаго народа.

Таковы мысли, высказанныя въ этой знаменитой статьѣ. Въ настоящее время историко-литературная критика утверждаетъ, что эти мысли почти цѣликомъ можно найти у предшественниковъ Бѣлинскаго и что безспорную личную собственность великаго критика составляетъ только характеристика Марлинскаго¹⁾. И, тѣмъ не менѣе, „Элегія“ была все-таки однимъ изъ тѣхъ событій, съ которыхъ начинается новая литературная эра. Съ нея можно начать исторію того гуманистически-западническаго направленія въ литературѣ, которое здѣсь намѣчено въ своихъ основныхъ чертахъ, несмотря на спутанность понятій и признаки будущаго славянофильства. Развитіе и разработка этого направленія составляли задачу дальнѣйшей дѣятельности самого Бѣлинскаго и послѣдующей литературы. Значеніе этой статьи опредѣляется какъ-разъ тѣмъ, что шло вразрѣзъ съ основной идеей фило-

¹⁾ См. предисловіе С. А. Венгрова къ Полн. собр. сочин. Бѣлинскаго.

софіи Бѣлинскаго. Мысль о первенствующемъ значеніи надземной „божественной идеи“ страннымъ образомъ породила въ критикѣ пламенный интересъ къ этой землѣ, страстное вмѣшательство въ ея злобу дня. Вчитайтесь въ эти метафизическія мечтанія и вы увидите, какой реалистъ говоритъ здѣсь языкомъ метафизика. Туманная теорія народности не помѣшала великому критику впервые гениально отличить тѣхъ поэтовъ, которымъ мы обязаны созданіемъ нашей національной литературы. Шеллинговская эстетика съ метафизическими задачами, поставленными ею искусству, непонятнымъ образомъ помогла Бѣлинскому вѣрно опредѣлить мѣсто почти каждого изъ нашихъ писателей въ исторіи литературы. Наконецъ, самое цѣнное качество этой статьи — бѣненіе могучаго общественнаго пульса, боевой тонъ критика. Какимъ образомъ примиряющій взглядъ на природу и жизнь породилъ эту проповѣдь борьбы? Какимъ путемъ изъ спекулятивнаго метафизическаго отношенія къ вселенной родилась эта жажда активнаго дѣла здѣсь на землѣ? Бѣлинскій не обладалъ достаточными знаніями. Онъ часто не видѣлъ трещинъ между своими отпавшими философскими точками зрѣнія, съ одной стороны, и своими благородными общественными стремленіями — съ другой. Онъ мѣнялъ эти отпавныя точки зрѣнія, но его общественный пылъ, его чувство дѣйствительности и реальной правды никогда не покидало его. Здѣсь объ измѣнахъ не можетъ быть и рѣчи. Отъ „Литературныхъ мечтаній“ до послѣдняго издыханія Бѣлинскій былъ борцомъ. Его ученіе о примиреніи служило только отвѣтомъ на внутреннюю потребность его духа къ единству, къ философскому монизму. Оно было великимъ недоразумѣніемъ, теоретической несостоятельностью, которая нерѣдко сбивала критика въ его жизненныхъ идеяхъ, въ его откликахъ на злобу дня. Но въ общемъ оно никогда не

могло убить въ немъ чувства живой дѣйствительности и страстнаго стремленія къ общественному благу. Онъ могъ въ своей „Элегіи“ идеализировать русскую дѣйствительность, прославлять во славу міровой гармоніи и бюрократію, и сложившійся крѣпостной строй, но всякому читателю ясно, что основной тонъ статьи звучалъ въ этихъ строкахъ: „Гордись, гордись, человѣкъ, своимъ высокимъ назначеніемъ... не забывай, что жизнь есть дѣйствованіе, а дѣйствованіе есть борьба, не забывай, что твое безконечное, высочайшее блаженство состоитъ въ уничтоженіи твоего „я“ въ чувствѣ любви. Итакъ, вотъ тебѣ двѣ дороги, два неизбѣжныхъ пути: отрекись отъ себя, подави свой эгоизмъ, попри ногами твое своекорыстное „я“, дыши для счастья другихъ, жертвуй всѣмъ для блага ближняго, родины, для пользы человѣчества, люби истину и благо не для награды, но для истины и блага, и тяжкимъ крестомъ выстрадай твое соединеніе съ Богомъ, твое безсмертіе, которое должно состоять въ уничтоженіи твоего „я“, въ чувствѣ безпредѣльнаго блаженства!.. Что? Ты не рѣшаешься? Этотъ подвигъ тебя страшитъ, кажется тебѣ не по силамъ?.. Ну, такъ вотъ тебѣ другой путь—онъ шире, спокойнѣе, легче: люби самого себя больше всего на свѣтѣ; плачь, дѣлай добро лишь изъ выгоды, не бойся зла, когда оно приноситъ тебѣ пользу. Помни это правило: съ нимъ тебѣ вездѣ будетъ тепло! Если ты рожденъ сильнымъ земли, гни свой *хребетъ*, ползи змѣею между тиграми, бросайся тигромъ между овцами, губи, угнетай, пей кровь и слезы, чело обремени лавровыми вѣнцами, рамена согни подъ грузомъ незаслуженныхъ почестей и титулъ. Весела и блестяща будетъ жизнь твоя; ты не узнаешь, что такое холодъ и голодъ, что такое угнетеніе и оскорбленіе, все будетъ трепетать тебя, вездѣ покорность, услужливость, отовсюду лесть и хваленія, и поэтъ напишетъ тебѣ посланіе и оду, гдѣ

сравнить тебя съ полубогами, и журналистъ прокричитъ во всеуслышанье, что ты покровитель слабыхъ и сирыхъ, столпъ и опора отечества, правая рука государя! Какая тебѣ нужда, что въ душѣ твоей каждую минуту будетъ разыгрываться ужасная, кровавая драма; что... вопли угнетенныхъ тобою будутъ преслѣдовать тебя и на свѣтломъ пиру и на мягкомъ ложѣ сна; что тѣни погубленныхъ тобою окружаютъ твой болѣзненный одръ? Зато весело поживешь, сладко поѣшь, мягко поспишь, повластвуешь надъ своими ближними“.

Мы съ умысломъ остановились на первомъ крупномъ произведеніи Бѣлинскаго такъ подробно, потому что оно явилось предтечей и тѣхъ идеаловъ, за которые почти до нашихъ дней боролась русская литература, и тѣхъ методовъ, которыми она пользовалась въ этой борьбѣ. Какъ ни мѣнялись въ послѣдующія десятилѣтія наши литературныя направленія, русская интеллигенція надолго усвоила духъ, впервые такъ ярко проявившійся въ этой статьѣ. Необходимо теперь же установить основные признаки этого либерально-идеалистическаго теченія, на смѣну которому впослѣдствіи явилось матеріалистически-соціальное, вступившее съ нимъ въ ожесточенную борьбу въ наши дни. Въ своихъ стремленіяхъ это направленіе всегда исходитъ изъ вѣры въ абсолютныя идеи истины, добра и красоты. Откуда бы ни заимствовались эти идеи, у Шеллинга или Гегеля, изъ человѣческаго разума или изъ внутренняго чувства справедливости, онѣ всегда апріорны, и имъ всегда придается абсолютный характеръ. Впослѣдствіи идеалистическое направленіе стало исходить въ своихъ требованіяхъ и идеалахъ изъ другихъ посылокъ, изъ фактовъ дѣйствительности, [изъ изученія русской жизни, но оно все-таки опиралось главнымъ образомъ на идеи общей правды, на незыблемую вѣру въ справедливость и

истину, во имя которыхъ требовало преобразованія этой дѣйствительности. Впослѣдствіи оно въ значительной степени признало существованіе частныхъ, относительныхъ, групповыхъ представленій объ истинѣ и справедливости, оно признало измѣнчивость, непрерывное развитіе, эволюцію нравственныхъ и научныхъ представленій общества, но старалось согласовать эту измѣнчивость съ своей по-прежнему неотвергнутой вѣрой въ неизмѣнный абсолютный характеръ нравственныхъ и научныхъ идей. Матеріалистическое направленіе, напротивъ того, отвергло всякія апріорныя построенія и вѣрованія и приняло за исходную точку только дѣйствительность, только факты. Вотъ почему для матеріалистовъ нѣтъ общей справедливости и общей истины. Матеріалисты будутъ пронизировать впослѣдствіи надъ общими понятіями либерализма о честности, добрѣ и правдѣ, какъ надъ субъективными, безсодержательными словами. Матеріалисты, какъ увидимъ впослѣдствіи, не знаютъ двухъ главныхъ признаковъ идеализма: апріорности и абсолютности идей. Матеріалистическія идеи, во-первыхъ, получаются только какъ выводъ, добытый путемъ опыта и наблюденія надъ природой и жизнью. Во-вторыхъ, матеріалисты не придаютъ имъ абсолютнаго значенія. Всякая истина для нихъ временная, относительная истина, остающаяся истиной до тѣхъ поръ, пока существуютъ породившія ее реальныя условія.

Этимъ теоретическимъ различіемъ въ значительной степени обусловливается и различіе въ практическихъ, общественныхъ воззрѣніяхъ обѣихъ группъ. Если идеалистическое міровоззрѣніе тѣсно связано съ либерализмомъ, съ борьбой за освобожденіе чело-вѣческой личности, за политическую свободу, за свободу совѣсти и мысли, то матеріалистическое пониманіе въ болѣе-й степени послужило подкладкой для социалистической программы, оно тѣсно связано съ

борьбой за экономическую структуру общества, соответствующую условиям момента и потребностям этого общества, за организацию эксплуатируемых общественных классов. И в самом методѣ борьбы оба течения окрашены въ особые цвѣта. Идеализмъ въ борьбѣ за освобожденіе человѣчества придаетъ преобладающее значеніе идеямъ и ихъ проводнику — мыслящей личности. Материализмъ выдвигаетъ на первый планъ интересъ, соотношеніе реальныхъ силъ въ обществѣ, чѣмъ опредѣляется и самый общественный строй. Въ дѣятельности идеалистовъ и либераловъ преобладаетъ принципъ „tout pour le peuple“, въ дѣятельности материалистовъ и социалистовъ — формула „tout par le peuple“.

Отмѣтивъ эти отличительные признаки обѣихъ группъ, нельзя не сдѣлать существенныхъ оговорокъ. Мы указывали только преобладающія тенденціи, но не претендуемъ на ихъ абсолютную вѣрность. Особенно къ концу XIX вѣка оба течения во многомъ сблизились. Идеализмъ въ своихъ теоретическихъ построеніяхъ не ограничивался только субъективными и апriorными построениями и отводилъ видное мѣсто фактамъ и ихъ строго научному изслѣдованію. Съ другой стороны, материалисты не всегда были свободны отъ субъективизма. Практическая программа либерализма тоже не всегда ограничивалась субъективными „интеллигентскими“ представленіями о справедливости. Она не разъ пыталась стать на сторону принципа „par le peuple“ и даже оспаривала у социализма его притязанія на монополію демократизма. Социализмъ, съ другой стороны, не разъ былъ повиненъ въ примѣненіи старыхъ пріемовъ интеллигентскаго руководства массами. Былъ у насъ и періодъ утопическаго социализма и идеалистическаго материализма, когда оба течения переплетались между собой, когда идеалистическій субъективизмъ старались примирить съ материали-

стически-объективнымъ пониманіемъ природы и жизни. Но, несмотря на всѣ уклоненія, въ исторіи русской общественно-литературной мысли XIX и начала XX вѣка эти два теченія являются основными. Даже оригинальное русское направленіе, извѣстное подъ именемъ славянофильства, въ значительной степени распадается на эти же два теченія. Въ первой стадіи своего развитія славянофильство носитъ отпечатокъ идеалистическаго либерализма. Затѣмъ изъ него же выходятъ ростки своеобразнаго національнаго социализма. Намъ нечего прибавлять, что изъ этихъ двухъ основныхъ теченій русской научной и общественной мысли первое оставалось господствующимъ до нашего времени. Вся литература, начиная съ 30-хъ и 40-хъ годовъ, носитъ печать либерализма и идеализма. Второе теченіе рано начало пробиваться среди перваго, сначала тонкими струями, въ наши дни широкимъ потокомъ...

Бѣлинскій стоитъ во главѣ перваго теченія, породившаго ту богатую литературу, которая сразу поставила Россію на одинъ уровень съ великими культурными народами. Не разъ будетъ Бѣлинскій измѣнять свои взгляды, не разъ въ его (особенно послѣднихъ) произведеніяхъ мы замѣтимъ неясное предчувствіе будущаго, начало реализма, переходящаго въ матеріализмъ, и начало общественнаго міросозерцанія, сближающагося на социализмъ. Но въ цѣломъ онъ всегда идеалистъ и либераль. Его никогда не покидаетъ пламенная вѣра въ апріорныя истины добра и правды, живущія въ его великомъ сердцѣ. Онъ всегда остается прежде всего апологетомъ правъ личности.

Только, сдѣлавъ это отступленіе, мы можемъ перейти къ характеристикѣ послѣдующихъ идей Бѣлинскаго, не отказываясь отъ традиціоннаго дѣленія всей его дѣятельности на два періода: московскій и петербургскій. Въ теченіе перваго преобладаетъ теорія, жаждя гармоніи, философскаго монизма, единства. Въ теченіе

второго — интересъ къ дѣйствительности, борьба съ объективно-примирительнымъ міросозерцаніемъ, жажда дѣла. Но не забудемъ, что Бѣлинскій оставался самимъ собою въ теченіе всей жизни.

IV.

Періодъ философскихъ исканій.

„Литературныя мечтанія“ и философія Шеллинга. — Періодъ „фихтианства“. — Культъ „я“ въ этотъ періодъ. — Статья о системѣ нравственной философіи Дроздова, какъ отраженіе этого періода. — Главныя мысли этой статьи: преклоненіе предъ апріорнымъ методомъ познанія и отрицаніе эмпирическаго метода; сознаніе, какъ основа нравственности; непрерывное совершенствованіе субъекта, какъ основная задача человѣка. — Гегеліанскій періодъ. — Діалектическій методъ и „разумная дѣйствительность“ — главныя гегеліанскія идеи, воспринятыя Бѣлинскимъ. — Вопросъ о томъ, правильно ли понялъ Бѣлинскій Гегеля. — Идеализація николаевскаго режима въ письмахъ этого періода. — Статьи о Бородинской годовщинѣ и Менцель, какъ отраженіе гегеліанскаго періода. — Политическія и эстетическія идеи, высказанныя въ этихъ статьяхъ.

Статьей „Литературныя мечтанія“ открывается періодъ философскихъ исканій Бѣлинскаго. Нетрудно видѣть, что эта статья была отраженіемъ шеллингіанскаго періода въ исторіи развитія Бѣлинскаго. Она проникнута тѣмъ свѣтлымъ настроеніемъ, которое царило въ этой философіи, превращавшей міръ въ волшебную гармонию, въ твореніе великаго художника. Шеллингъ въ своей натурфилософіи нарисовалъ цѣльную поэтическую картину жизни природы, гдѣ наука и фантазія причудливо переплетались между собою. Онъ воспользовался и данными естествознанія. Но онъ, не задумываясь, заполнилъ поэтическими вымыслами

всѣ пробѣлы, которые оставило несовершенство науки, и природа изъ собранія случайныхъ явленій и законовъ превратилась въ колоссальный одухотворенный организмъ. Всѣ отдѣльныя явленія, всѣ существа, населяющія міръ, всѣ ихъ дѣйствія, перестали быть случайными, обособленными элементами. Все это части единого организма. Все это—проявленія единой міровой души, ступени единого жизненнаго процесса. Природа не есть нѣчто, существующее внѣ духа. Она возникаетъ въ духѣ. Поэтому ступени познанія находятся въ соотвѣтствіи съ ступенями природы, такъ какъ и познаніе и бытіе, субъектъ и объектъ, оба коренятся въ общей высшей сущности, въ абсолютномъ познаніи. Такимъ образомъ природа служитъ къ познанію міровой души, мірового Разума. Окончательное раскрытіе этого Разума, совершенное самосозерцаніе абсолютнаго „я“ возможно только въ произведеніяхъ искусства. Отсюда тотъ культъ искусства, который имѣлъ такое огромное вліяніе на романтическую школу въ Германіи, а у насъ на Бѣлинскаго и его друзей,—тотъ культъ, которымъ обвѣяны „Литературныя мечтанія“. Творенія искусства—отраженія міровой души, единого разума, отъ котораго исходитъ весь міръ. Художественная дѣятельность имѣетъ творческій характеръ, она свободна и въ то же время подчинена принужденію, она сознательна и безсознательна, она имѣетъ обдуманый характеръ и въ то же время импульсивный, она создаетъ безсознательно, а формируетъ съ помощью сознанія и рефлексіи. Личность художника Шеллингъ окружаетъ особымъ ореоломъ. Поэты-художники принадлежатъ къ числу рѣдкихъ роковыхъ демоническихъ людей; ими руководитъ высшая сила, у нихъ есть рокъ. „Художникъ инстинктивно вкладываетъ въ свое произведніе, кромѣ того, что онъ выразилъ въ немъ съ очевиднымъ намѣреніемъ, какъ бы цѣлую безконечность, которую ни одинъ конечный

разсудокъ не способенъ развить вполнѣ“. Художественное произведеніе заключаетъ въ себѣ выраженіе „безконечной гармоніи“. Словомъ, въ художественномъ созерцаніи завершается самосозерцаніе „я“. Философіей искусства заканчивается шеллинговская система, носящая названіе „трансцендентальнаго идеализма“. Въ своей „Syst. des transc. Ideal“. Шеллингъ написалъ знаменитыя восторженные слова въ честь искусства, которыя стали евангеліемъ романтиковъ и эстетовъ. „Искусство есть истинный и вѣчный организмъ и въ то же время документъ философіи, постоянно и все вновь подтверждающій то, чего философія не можетъ выразить во внѣшней формѣ, именно, изображающій безсознательное въ его дѣятельности и творчествѣ и его первоначальное тождество съ сознательнымъ. Искусство есть высочайшее явленіе для философа именно потому, что оно какъ бы раскрываетъ ему Святая Святыхъ, гдѣ въ вѣчномъ и первоначальномъ единствѣ въ единомъ пламени пылаетъ то, что обособлено въ природѣ и въ исторіи и что вѣчно должно расходиться въ жизни и дѣятельности, а также въ мышленіи. Взгляды на природу, искусственно создаваемые философами, въ искусствѣ являются первоначально и естественно. Природа есть поэма, написанная первотайнственными чудесными письменами. Однако если бы загадка могла раскрыться, мы бы увидѣли въ ней *Одиссею духа*, который, чудесно обманываясь, ища себя, бѣжитъ отъ самого себя; въ самомъ дѣлѣ, смыслъ міра проглядываетъ сквозь чувственную оболочку его лишь такъ, какъ значеніе словъ—сквозь ихъ звуки, какъ страна фантазіи, составляющей предметъ нашихъ желаній, сквозь полупрозрачный туманъ“.

Если упростить и грубо формулировать эту тонкую философію искусства, она сведется къ ясной формулѣ. Послѣдняя задача познанія у него — старая задача

метафизики: постигнуть первоначальныя основы бытія, постичь абсолютъ. Искусство — посредникъ между человѣкомъ и абсолютнымъ началомъ. Его задача — раскрыть тайны абсолютнаго, приподнять завѣсу вѣчной тайны. Искусство играетъ ту же роль, какую играли религія и церковь для вѣрующаго. Оно пробуждаетъ то восторженное созерцаніе, которое приводитъ человѣка въ общеніе съ божествомъ. Поэтъ — жрецъ или пророкъ. Его посѣщаетъ то вдохновеніе, которое позволяетъ ему облекать дыханіе абсолютнаго разума въ конкретныя формы. Не трудно видѣть, что въ своей первой крупной статьѣ „Литературныя мечтанія“ Бѣлинскій перефразировалъ вышеприведенныя слова Шеллинга, когда подводилъ итоги своему эстетическому міросозерцанію. И въ наше время, когда такой жгучій характеръ принялъ конфликтъ между символической и реалистической школами, когда снова разгорѣлся споръ о томъ, въ чемъ задача искусства: въ раскрытіи ли тайнъ потусторонняго міра или въ объясненіи явленій жизни, — и въ наше время символическая школа, преемница романтизма, въ своемъ воззрѣніи на задачи искусства стоитъ на почвѣ шеллинговской философіи.

Но уже въ „Литературныхъ мечтаніяхъ“ гармонія шиллингианскаго міросозерцанія Бѣлинскаго, какъ мы видѣли, нарушается призывами къ борьбѣ, болѣзненнымъ воплемъ по поводу зла, царящаго въ видимой дѣйствительности. И эта дисгармонія являлась залогомъ того, что Бѣлинскій отброситъ систему, какъ только убѣдится, что не все въ мірѣ есть дыханіе единой разумной идеи. Да и не была ли вообще вся эта погоня за нѣмецкими отвлеченными системами и быстрое отреченіе отъ нихъ въ концѣ-концовъ свидѣтельствомъ того, что Бѣлинскій инстинктивно искалъ въ нихъ не отвлеченій, не метафизическихъ откровеній, а только оружія для борьбы съ царящимъ зломъ?

Эта мысль напрашивается сама собою, когда мы видимъ, какъ мучительно доставался Бѣлинскому переходъ отъ одной системы къ другой. До конца 30-хъ годовъ, т.-е. до времени переѣзда, Бѣлинскій охваченъ безпокойнымъ, лихорадочнымъ исканіемъ той истины, которая мелькала передъ его воображеніемъ въ вопросахъ философіи и искусства.

Шеллинга смѣнилъ Фихте.

Письма, относящіеся къ 1836 — 1837 годамъ, говорятъ объ этомъ новомъ кратковременномъ и напряженномъ увлеченіи. Подъ вліяніемъ Бакунина Бѣлинскій знакомится въ это время съ философіей Фихте и отдается ей со свойственной ему горячностью весь цѣликомъ. По ученію Фихте, то, что намъ представляется внѣшнимъ міромъ, есть въ сущности созданіе нашего „я“, созданіе, необходимое для нашего „я“, чтобы оно могло сознать само себя. Нельзя сознать чего бы то ни было, если не представить себѣ границъ его, т.-е. чего-то, что не является имъ. Нельзя мыслить *A*, если не мыслить въ то же время *не — A*. Такимъ образомъ, внѣшній міръ есть нѣчто, извлеченное нашимъ „я“ изъ себя въ актѣ самопознанія. Этотъ внѣшній міръ — продуктъ творческой дѣятельности духа. А мы склонны принимать этотъ внѣшній міръ за потустороннюю реальность. Внѣшній міръ, „*не — я*“, является лишь той функціей, черезъ которую „я“ ограничиваетъ и опредѣляетъ себя. Такимъ образомъ Фихте объявилъ внѣшній міръ призракомъ и иллюзіей, принимающей видъ реальности только въ актѣ самопознанія абсолютнаго „я“. „Жизнь идеальная и жизнь дѣйствительная всегда двоились въ нашихъ понятіяхъ“, — говоритъ Бѣлинскій въ одномъ письмѣ къ Бакунину. Но, подъ вліяніемъ Фихте, онъ убѣдился, что „идеальная-то жизнь есть именно жизнь дѣйствительная, положительная, конкретная, а такъ-называемая дѣйствительная жизнь есть отрицаніе,

призракъ, ничтожество, пустота“. Онъ говоритъ, что „уцѣпился за фихтіанскій взглядъ съ энергіей, съ фанатизмомъ“, что Бакунинъ „первый уничтожилъ въ моемъ понятіи цѣну опыта и дѣйствительности, втащивъ меня въ фихтіанскую отвлеченность“. Дѣйствительность исчезла для Бѣлинскаго. Она стала призракомъ. Осталось только я, осталась только мысль. „Міръ или вселенная есть Его (Бога) храмъ, а душа и сердце человѣка или, лучше сказать, внутреннее я человѣка есть его алтарь, престолъ, святая святыхъ. Итакъ, ищи Бога не въ храмахъ, созданныхъ людьми, но ищи въ сердцѣ своемъ, ищи его въ любви своей... Въѣ мысли все призракъ, мечта; одна мысль существенна и реальна. Что такое ты самъ? Мысль, одѣтая тѣломъ. Тѣло твое сгніетъ, но твое я останется, слѣдовательно, тѣло твое есть призракъ, мечта, но я твое существенно и вѣчно... Что важнѣе: идея или явленіе, душа или тѣло? Идея ли есть результатъ явленія, или явленіе есть результатъ идеи? Безъ сомнѣнія, явленіе есть результатъ идеи“. Вся эта тирада не что иное, какъ доведенное до своего логическаго конца ученіе Фихте о томъ, что вселенная есть порожденіе нашего я.

Подобно тому какъ „Литературныя мечтанія“ были лучшимъ отраженіемъ шеллингiana Бѣлинскаго, такъ въ статьѣ о „Системѣ нравственной философіи“ Дроздова можно уловить отраженіе фихтіанскихъ идей.

Бѣлинскій въ этой статьѣ выступаетъ прежде всего сторонникомъ принципа прирожденныхъ идей и апріорнаго метода.—Есть, говоритъ онъ,—два способа изслѣдованія истины: *a priori* и *a posteviori*, т.-е. изъ чистаго разума и изъ опыта. Критикъ становится на сторону перваго, категорически отвергнувъ эмпирическій методъ изслѣдованія. Должно факты объяснять мыслью, а не мысль выводиться изъ фактовъ. Иначе матерія будетъ началомъ духа, а духъ — рабомъ матеріи. Если

какіе-нибудь факты противорѣчатъ апріорнымъ построеніямъ, это доказываетъ только, что факты ложны. „Напримѣръ, я убѣжденъ,—говоритъ Бѣлинскій,—что поэзія есть безсознательное выраженіе творящаго духа и что, слѣдовательно, поэтъ, въ минуту творчества, есть существо болѣе страдательное, нежели дѣйствующее, а его произведенія есть уловленное видѣніе, представшее ему въ свѣтлую минуту откровенія свыше, слѣдовательно, оно не можетъ быть выдумкой его ума, сознательнымъ произведеніемъ его воли“. Это свое апріорное убѣжденіе Бѣлинскій объявляетъ абсолютной истиной и не признаетъ поэзіи ни въ чемъ, что „не создано по этому закону“. Но, скажутъ мнѣ, такіа-то и такіа-то произведенія не подходятъ подъ этотъ законъ?—Слѣдовательно, онѣ—ложны, отвѣчаю я.—Но вѣрно ли ваше начало?—Опровергните его!—Бѣлинскій былъ законченнымъ человѣкомъ не только въ истинѣ, но и въ своихъ заблужденіяхъ. Рѣдко субъективный произволъ, на которомъ основывается метафизическое мышленіе, обнаруживался съ такой силой, какъ въ этомъ краткомъ гипотетическомъ діалогѣ. Я отвергаю и называю ложью все, что мнѣ не нравится. Я называю абсолютной истиной все, что кажется мнѣ таковой. Догматизмъ докантовской метафизики и методы философовъ, приписывающихъ абсолюту все, что имъ заблагоразсудится, воскресли въ этихъ словахъ Бѣлинскаго. И, тѣмъ не менѣе, критикъ убѣжденъ, что именно этотъ методъ ведетъ къ познанію истины. Умозрѣніе—говоритъ онъ,—всегда основывается на законахъ необходимости, а эмпиризмъ — на условныхъ явленіяхъ. Математика, точная и положительная наука, выведена изъ законовъ чистаго разума. Истина: $2 \times 2 = 4$, узнана не изъ опыта, а „изъ духа перенесена въ опытъ“. Всѣ гипотезы астрономіи основаны на умозрѣніи. Два величайшихъ открытія — Америка и планетная система — сдѣланы *a priori*. Въ настоя-

щее время нѣтъ надобности приводить доводовъ эмпириковъ и позитивистовъ въ пользу того, что всё эти мнимыя апріорныя истины являются результатомъ опыта. Эти доводы слишкомъ хорошо извѣстны ¹⁾).

Бѣлинскій возстаетъ даже противъ попытокъ соединенія умозрительнаго и эмпирическаго метода. Они исключаютъ другъ друга. Единственное, что онъ допускаетъ,—это—провѣрку умозрѣнія опытомъ. „Если умозрѣніе вѣрно, то опытъ непременно долженъ подтверждать его въ приложеніи“. Казалось бы, отсюда ясно слѣдуетъ, что опытъ остается единственнымъ несомнѣннымъ источникомъ познанія, такъ какъ онъ всегда къ нашимъ услугамъ для провѣрки истины. Но Бѣлинскій выводитъ отсюда какъ-разъ совершенно противоположное заключеніе.

Духомъ фихтіанства проникнуты и нравственныя воззрѣнія этой статьи. Для него въ нравственныхъ вопросахъ сознаніе играетъ первостепенную роль. „Совѣсть добрая есть состояніе сознанія, злая—состояніе безсознанія“. И здѣсь сознающій себя субъектъ является исходнымъ пунктомъ міровоззрѣнія Бѣлинскаго. Человѣкъ созданъ для сознанія и потому можетъ быть счастливъ только вслѣдствіе сознанія; слѣдовательно, сознаніе есть его естественное, нормальное, а потому и блаженное состояніе, которое проявляется въ равновѣсіи человѣка самому себѣ, въ мирѣ и гармоніи съ самимъ собою; безсознательность же есть состояніе неестественное, болѣзненное, разрушающее равенство человѣка съ самимъ собою, миръ и гармонію его духа, слѣдовательно, разрушающее его счастье. Тѣ, кто отрицаютъ существованіе совѣсти на основаніи „безконечной разности“ понятій о добрѣ и злѣ, впадаютъ въ ошибку. У насъ, напримѣръ, ува-

¹⁾ См., между прочимъ, книгу Дидгена „Сущность головной работы“.

женіе къ родителямъ — одна изъ священныхъ обязанностей, а есть дикари, у которыхъ дѣти вѣшаютъ родителей на деревьяхъ. Но эти дикари дѣйствуютъ не по внушенію своей совѣсти, а вслѣдствіе неправильныхъ понятій своего разума, и они правы передъ своей совѣстью. Совѣсть есть только слѣдствіе сознанія хорошаго или дурнаго поступка, а не самое сознаніе, и потому не можетъ направлять нашей дѣятельности, которая должна опредѣляться сознаніемъ или разумомъ. Не совѣстью, а сознаніемъ опредѣляемъ мы, что хорошо или дурно. Итакъ, у всѣхъ народовъ могутъ быть разныя понятія о добрѣ и злѣ, смотря по степени ихъ сознанія, но совѣсть вездѣ одна и та же. Степень сознанія — единственный критерій чело­вѣческаго достоинства. Зародышъ всего прекраснаго можетъ скрываться въ каждомъ чело­вѣкѣ, но пока онъ не разовьется сознаніемъ, всѣ хорошіе поступки „будутъ плодомъ его животности, будутъ безсознательны“. Люди, не развившіе этого зародыша сознаніемъ, не имѣютъ никакой цѣны, потому что добрые поступки — слѣдствіе ихъ организма, а не воли.

Высшая задача чело­вѣка — непрерывное стремленіе къ совершенству. Таковъ основной законъ нравственности. Причина этого закона заключается въ немъ же самомъ, т. е. въ томъ, что „чело­вѣкъ есть органъ сознанія природы, сосудъ духа Божія“. Чело­вѣкъ носитъ въ душѣ своей всѣ зародыши, всѣ элементы той степени сознанія, до которой ему назначено достигнуть. Толчкомъ къ такому совершенствованію служитъ симпатія, связывающая людей между собою, тождественность стремленій и цѣлей чело­вѣка съ стремленіями и цѣлями другихъ людей. Каждый чело­вѣкъ развиваетъ одну сторону сознанія, а „воз­можно-конечное и возможно-всеобщее сознаніе“ должно произойти не иначе, какъ вслѣдствіе этихъ разносто­роннихъ сознаній. Поэтому полное и совершенное со-

знаніе возможно только для всего человѣчества и будетъ „результатомъ соединенныхъ трудовъ, вѣковой жизни и историческаго развитія человѣческаго духа. Всякій индивидъ есть часть великаго цѣлаго. Развивая свое собственное сознаніе, онъ необходимо отдастъ его въ общую сокровищницу человѣческаго духа. Каждый человѣкъ долженъ любить человѣчество какъ идею полнаго развитія сознанія, которое составляетъ и его собственную цѣль, т.-е. каждый человѣкъ долженъ любить въ человѣчествѣ свое собственное сознаніе въ будущемъ“.

Идея личнаго совершенствованія, культъ сознающаго себя субъекта, преклоненіе передъ человѣческимъ я, въ кратковременный періодъ увлеченія фихтианствомъ такъ же мощно захватили Бѣлинскаго, какъ восторженное эстетическое созерцаніе, преклоненіе передъ красотой природы и искусствомъ царили надъ нимъ въ періодъ его симпатій къ Шеллингу. И подобно тому, какъ въ періодъ шеллингианства въ гармоническомъ, полномъ свѣтлой поэзіи міровоззрѣніи Бѣлинскаго прорывался тайный скорбный крикъ о страдающемъ человѣчествѣ, такъ и фихтианство въ изложеніи знаменитаго критика приобрѣло ту же благородную окраску. Въ заключительныхъ пламенныхъ строкахъ, напоминающихъ скорѣе религіозный гимнъ, чѣмъ философское разсужденіе, въ мысли объ абсолютномъ сознаніи, съ которымъ сливается субъективное, земной человѣкъ съ его желаніями, горестями и радостями выдвигается какъ центральная цѣль. Стремленіе къ абсолютному не заглушаетъ мысли о земномъ, относительномъ. Дѣйствительность, этотъ призракъ, рожденный субъектомъ, становится чѣмъ-то главнымъ, и само абсолютное превращается въ свѣточъ, озаряющій его. Въ самыхъ абстрактныхъ стремленіяхъ Бѣлинскаго всегда чувствовалось біеніе могучаго общественнаго пульса, и мечты о вѣчности

сливались у него съ напряженной думой о скорбной драмѣ нашего временнаго существованія: „Не напрасно всѣ міры связаны между собою электрической цѣпью любви и сочувствія, и все живущее, все дышащее составляетъ звено въ этой безконечной цѣпи, не напрасно человѣкъ и рождается, и умираетъ, и веселится, и скорбитъ, и горячо любитъ милое, и горько рыдаетъ, лишаясь его, и не переживаетъ своихъ склонностей, и, стоя на прагѣ вѣчности, вспоминаетъ объ нихъ еще живѣе, и рыдаетъ объ нихъ еще горше, и сладки ему слезы его; не напрасно человѣкъ стремится къ какому-то блаженству и ищетъ его всю жизнь, ищетъ его и въ шумныхъ наслажденіяхъ юности, и въ безумномъ упоеніи пировъ, и въ ужасахъ кровавыхъ битвъ, и въ тревогахъ опасностей, и въ обольщеніяхъ славы, и въ очарованіи власти, и въ нѣгѣ бездѣйствія, и въ сладости труда, и въ свѣтѣ знанія, и въ наслажденіи искусствами, и въ любви другого сердца, и... нерѣдко въ тиши монастырской кельи... Вѣчность не мечта, не мечта и *жизнь, которая служитъ къ ней ступенью!*“. Жизнь изъ призрака стала ступенью къ вѣчности, но такой важной ступенью, передъ которой померкъ яркій свѣтъ самой вѣчности! „Историческая заслуга кружка Бѣлинскаго, — справедливо замѣчаетъ Пыпинъ, — въ томъ и заключалась, что онъ понималъ свою философію не какъ школьную теорію, непрічастную къ жизни, а, напротивъ, переживалъ ее какъ догматъ, какъ жизненную истину въ полномъ ея примѣненіи“.

Фихте смѣнилъ Гегель.

Уже въ письмахъ, въ которыхъ Бѣлинскій говоритъ о своихъ увлеченіяхъ фихтианствомъ, слышатся временами отзвуки гегелевскихъ идей. Вообще фихтианство Бѣлинскаго было кратковременнымъ. Оно врывается въ кругъ его философскихъ исканій въ 1836 году и уже въ 1837 году чувствуется, что скоро новый кругъ

идей оттѣснить систему Фихте. Уже въ письмѣ отъ 21-го сентября 1837 года Бѣлинскій упоминаетъ о томъ, какое вліяніе начиналъ оказывать Гегель на міровоззрѣніе кружка. „Катковъ, столкнувшись съ Егоромъ Теодоровичемъ (такъ въ кружкѣ называли Гегеля), разбилъ въ прахъ мою прекрасную теорію... Катковъ читаетъ эстетику Гегеля и въ восторгѣ отъ нея“.

Мы видѣли, что фихтианство уносило мысль членовъ кружка отъ дѣйствительности и борьбы съ нею. Если дума о страданіяхъ человѣчества не покидала Бѣлинскаго въ теченіе всего московскаго періода его жизни, то тѣмъ не менѣе его положительные идеалы до начала 40 годовъ заключались въ страстномъ стремленіи къ „абсолютной“ жизни, исполненной одними высшими духовными интересами знанія искусства, возвышенной любви и, сколько возможно, удаленной отъ всякаго общенія съ житейской „пошлостью“. Отсюда вытекало довольно равнодушное и консервативное отношеніе къ тому, что происходило въ жизни общества и государства. Если фихтианство кружка и налагало на личность извѣстный долгъ по отношенію къ окружающему міру, то этотъ долгъ заключался только въ постоянномъ личномъ самоусовершенствованіи. Развивая свое собственное сознаніе, училъ Бѣлинскій, всякій индивидъ необходимо отдаетъ его въ общую сокровищницу человѣческаго духа. Другихъ обязанностей, — обязанностей активнаго вмѣшательства въ общественную жизнь фихтианство, въ толкованіи кружка, не возлагало на личность. Если фихтианское ученіе было воспринято Бѣлинскимъ въ духѣ общественнаго индифферентизма, то гегелевская система поставила его во враждебное отношеніе ко всякой борьбѣ, ко всякому активному вмѣшательству въ жизнь, ко всякому протесту противъ ея темныхъ сторонъ. По ученію Гегеля, Абсолютный Разумъ или Абсолютная Идея, для того, чтобы достигнуть самосознанія, полагаетъ въ своей

творческой игрѣ природу какъ нѣчто другое и отличное отъ себя. Природа есть такимъ образомъ его „инобытіе“, его относительная противоположность. Онъ полагаетъ это другое для того, чтобы вернуться къ себѣ изъ этого другого и сознать себя въ этомъ другомъ, достигая такимъ образомъ полноты самосознанія. Мировой процессъ представляется Гегелю поэмой абсолютнаго. Этотъ процессъ представляетъ собою постепенное самораскрытіе абсолютнаго, которое достигаетъ своей конечной ступени въ разумномъ существѣ—человѣкѣ. Человѣкъ постепенно возвышается надъ природой, познаетъ ее и себя самого и сознаетъ въ себѣ абсолютное. Такимъ образомъ, жизнь міра, исторія человечества, развитіе искусства и религіи, — все это образуетъ непрерывное движеніе, которое является элементомъ вѣчнаго развитія Абсолютной Идеи. Абсолютная Идея раскрывается въ этомъ развитіи человечества, искусства, религіи, общества, а въ особенности, философіи, въ которой человѣческій духъ познаетъ истину во всей ея полнотѣ. Ни вещи, ни понятія нельзя разсматривать какъ независимыя обособленные существованія, относящіяся только къ самимъ себѣ. И тѣ и другія—части цѣлаго, стадіи въ единомъ процессѣ.

Этотъ процессъ Гегель называетъ діалектическимъ методомъ. Всякое понятіе и всякая вещь тѣмъ самымъ фактомъ, что они опредѣлены, заключаютъ въ себѣ свое отрицаніе. Какое бы сужденіе нами ни было высказано, мы въ силу законовъ нашей логической способности приходимъ къ признанію факта существованія и противоположной истины. Самое опредѣленіе понятія есть уже отнесеніе его къ понятію, отрицающему его, есть уже ограниченіе его, т.-е. утвержденіе, что оно не абсолютно. Мы можемъ произнести слово *суть* только потому, что одновременно уже предполагаемъ понятіе *тьмъ*. Всякое понятіе самымъ фактомъ

своего существованія уже предполагаетъ существованіе противоположнаго. Поэтому логическая дѣятельность состоитъ изъ трехъ моментовъ: тезиса, антитезиса и синтеза. Всякое явленіе, развиваясь до своего логическаго конца (тезисъ), превращается въ свою противоположность (антитезисъ). Лишь за первымъ моментомъ, когда понятіе, будучи ограниченнымъ, утверждается, какъ истинное, раскрывается второй моментъ — самоотрицаніе понятія вслѣдствіе внутренняго противорѣчія между его ограниченностью и тою истиной, которую оно должно представлять. Оба понятія примиряются въ третьемъ высшемъ, которое представляетъ третій моментъ — синтезъ. Какъ только это новое понятіе утверждается, оно неизбежно переходитъ въ свою противоположность и т. д. Отсюда становится яснымъ и тотъ процессъ, которымъ Абсолютная Идея приходитъ къ самосознанію. Она приходитъ къ нему тѣмъ же діалектическимъ путемъ. Уже самое понятіе абсолютнаго заключаетъ въ себѣ его противоположность, инобытіе, представляющее собою антитезисъ. Чрезъ это инобытіе абсолютное возвращается къ себѣ въ человѣческомъ духѣ, который представляетъ собою третій моментъ — синтезъ. Человѣкъ возвышается надъ природой и сознаетъ въ себѣ абсолютное. Исторія есть постепенное осуществленіе этого сознанія по тому же діалектическому методу. Историческія явленія не случайны, они — стадіи діалектическаго процесса, въ которыхъ раскрывается абсолютное. Но высшая дѣятельность — философія, потому что въ ней человѣческій духъ, являющийся синтезомъ, абсолютнаго и природы, самъ находитъ высшій синтезъ своего развитія.

Гегелевская система заключала въ себѣ одно существенное противорѣчіе. Съ одной стороны, она претендовала на званіе абсолютной истины, съ другой — самая сущность діалектическаго метода заключаетъ

въ непрерывномъ движеніи, въ постоянномъ приближеніи къ абсолютному, при невозможности завершенія этого процесса. Въ самомъ дѣлѣ, ученіе Гегеля справедливо называютъ панлогизмомъ. Въ сущности, кромѣ логики, это ученіе ничего не признаетъ. Логическая мысль—начало всего. Міровой процессъ, есть логическій процессъ. Но міровой процессъ еще не завершился. Абсолютнаго еще нѣтъ. „Богъ, какъ самосознательное Существо, становится только въ человѣкѣ и чрезъ человѣка: Онъ не есть, а только будетъ въ концѣ исторіи“. Такимъ образомъ, по справедливому замѣчанію кн. С. Н. Трубецкого, панлогизмъ пришелъ къ самоотрицанію. Послѣ Гегеля произошелъ расколъ между его учениками. Образовались правая и лѣвая гегеліанскія группы. Лѣвая была склонна признать то самоотрицаніе, къ которому пришелъ панлогизмъ. Гегеліанская правая возстала противъ такого „искаженія“. Она утверждала, что абсолютное совершенно и равно себѣ отъ вѣка; что логическій процессъ не временный, а вѣчный, и что „становится“ не абсолютное, а только его откровеніе, его раскрытіе во времени. Такимъ образомъ споръ сосредоточился на значеніи „скорбной драмы временнаго бытія“, по выраженію С. Н. Трубецкого, на нашей временной дѣйствительности. Является ли она перелистываніемъ вѣчнаго текста“ или „представляетъ самостоятельное развитіе“? Здѣсь мы сталкиваемся съ важнымъ вопросомъ, — съ вопросомъ объ отношеніи гегеліанской философіи къ дѣйствительности. Разъ міровой процессъ есть логическій процессъ, разъ мышленіе и бытіе—одно, то каждый моментъ дѣйствительности является необходимымъ и неизбѣжнымъ, вполне соответствующимъ логическимъ законамъ. Все дѣйствительно разумно, все разумное дѣйствительно. Это знаменитое положеніе Гегеля давало оружіе въ руки консерватизма и квіетизма. Борьба противъ дѣйствительности представля

лась безсмысленнымъ возстаніемъ противъ абсолютнаго. Фраза Гегеля давала поводъ къ оправданію отрицательныхъ сторонъ существующей дѣйствительности. Подобное толкованіе гегелевской фразы представляется, по меньшей мѣрѣ, спорнымъ. Не все существующее Гегель считалъ дѣйствительностью. Дѣйствительное выше существующаго. Дѣйствительность развертывается какъ необходимость. Но, по Гегелю, необходимо далеко не только то, что существуетъ. Все существующее, въ силу скрытой въ немъ истины абсолютнаго, переходитъ въ новыя формы существующаго и въ конечномъ счетѣ разумнымъ оказывалось только непрерывное движеніе впередъ, постоянное крушеніе старыхъ формъ. Такъ можно было понять эту философію мнимаго примиренія съ дѣйствительностью, и недаромъ Герценъ назвалъ ее алгеброй революціи. Правда, самъ Гегель былъ скорѣе склоненъ къ толкованію своей системы въ консервативномъ духѣ. Онъ считалъ, что абсолютная истина уже найдена имъ. Онъ готовъ былъ объявить, что процессъ раскрытія абсолютнаго уже завершился въ той современности, которую онъ засталъ, и онъ провозглашаетъ Прусское королевство царствомъ разума (Vernunft-Staat). Абсолютное найдено, дальше идти некуда, для философіи закрыта возможность дальнѣйшаго развитія.

На Бѣлинскаго наибольшее вліяніе изъ гегелевскихъ идей оказала идея діалектическаго развитія, согласно которой всякое явленіе есть необходимая стадія въ процессѣ самопознанія абсолютнаго духа. Эта мысль, воспринятая слишкомъ прямолинейно, требовала оправданія всего существующаго. Возстать противъ того или другого явленія было равносильно возстанію противъ Абсолютнаго Разума или Абсолютной Идеи. Разъ дѣйствительность развивается согласно логическимъ законамъ, разъ въ вещахъ нѣтъ ничего, чего бы не

было въ понятіяхъ о нихъ, и, обратно, въ понятіяхъ нѣтъ ничего, чего нѣтъ въ вещахъ, — то ясно, что дѣйствительное и разумное тождественны между собою. „Все дѣйствительное разумно, все разумное дѣйствительно“,—эта знаменитая формула стала евангеліемъ русскихъ гегеліанцевъ. Они упустили изъ виду, что тотъ же діалектическій методъ, согласно которому всякое явленіе было необходимой стадіей, могъ лечь въ основу всякаго протеста, какъ стадіи тоже необходимой. Они не уловили той стороны гегеліанства, которая дала Герцену право назвать его алгеброй революціи, именно идеи непрерывнаго развитія,—идеи, враждебной консерватизму и застою, идеи, которая превращала исторію человѣческаго общества въ исторію непрерывной борьбы, а не въ механической процессъ. Если, по логикѣ Гегеля, все дѣйствительное разумно, то далеко не все существующее дѣйствительно, какъ отмѣтилъ еще Бельтовъ. Дѣйствительность выше просто существующаго („die Wirklichkeit steht höher als die Existenz“). Случайное существованіе не есть дѣйствительное существованіе. Необходимо не только то, что существуетъ: всемірный духъ своей непрерывной кротовой работой подрываетъ существующее, превращаетъ его въ простую, лишенную дѣйствительнаго содержанія форму и дѣлаетъ необходимымъ появленіе новаго, роковымъ образомъ сталкивающегося со старымъ. Философія Гегеля по существу вовсе не была философіей застоя. Мы видѣли, что въ самой Германіи она привела къ образованію правой и лѣвой гегеліанской школы. И у насъ въ Россіи Герценъ и Бѣлинскій сдѣлали изъ нея діаметрально противоположные выводы. Источникъ этого двойственнаго толкованія скрывается во внутреннемъ противорѣчьи самого гегеліанскаго ученія, которое, съ одной стороны, основывалось на идеѣ безконечнаго развитія, а съ другой—на идеѣ, что абсолютъ уже найденъ,

и дальнѣйшему развитію нѣтъ мѣста. Вотъ почему вопросъ о вліяніи Гегеля на Бѣлинскаго нельзя рѣшать въ томъ смыслѣ, что Гегель создалъ Бѣлинскаго извѣстнаго періода или что безъ Гегеля этого періода въ развитіи Бѣлинскаго не существовало бы совсѣмъ. Гегеліанство, а особенно своеобразный, односторонній смыслъ, вложенный въ него Бѣлинскимъ, было удобной формулой, въ которую облакалось настроеніе нашего писателя въ концѣ 30-хъ годовъ. И шеллингіанство и ученіе Фихте, такъ же какъ и гегелевская система, несмотря на все несходство этихъ ученій, служили для Бѣлинскаго одинаково удобными формулами, въ которыя облакался его страстный порывъ къ истинѣ, его пламенное стремленіе найти гармонію и красоту внѣ окружающей дѣйствительности, въ которой не было ни красоты, ни гармоніи, наконецъ, его самообманъ, его вѣра въ то, что онъ, болѣзненно-чуткій писатель съ могучимъ соціальнымъ инстинктомъ, съ неутолимой жаждой борьбы и дѣятельности, можетъ заглушить въ себѣ голосъ этого инстинкта и уничтожить эту жажду. Вотъ почему бесплодны всѣ споры о томъ, понялъ или не понялъ Бѣлинскій Гегеля. И въ своихъ шеллингіанскихъ, и въ своихъ гегеліанскихъ увлеченіяхъ онъ оставался самимъ собою—Бѣлинскимъ перваго періода съ его вѣрой въ возможность примиренія идеала и дѣйствительности, оставался великимъ русскимъ общественникомъ, загнаннымъ въ зачарованный кругъ абстракцій тогдашними цензорами, зорко охранявшими русскую жизнь отъ прикосновенія свѣтлаго ума и благороднаго сердца. „Допустимъ,—справедливо замѣчаетъ Венгеровъ,—что Бѣлинскій не понялъ Гегеля и даже совершенно „извратилъ“ его. Что бы изъ этого слѣдовало? Единственно тотъ фактъ вполне второстепеннаго значенія, что умственная жизнь русской интеллигенціи 40-хъ годовъ шла безъ воздѣйствія на нее подлинной геге-

левской философіи... Въ современной Бѣлинскому Франціи и Англіи Гегеля совсѣмъ не знали, и это не мѣшало имъ развить первостепенную культуру. Обошлась бы, слѣдовательно, и Россія безъ „правильно“ понятаго гегеліанства. Весь интересъ „правильно“ или „неправильно“ понятаго русскаго гегеліанства только въ томъ и заключается, поскольку онъ является *русскимъ* умственнымъ теченіемъ“.

Примиреніе съ русской дѣйствительностью, съ ужасами николаевского режима, началось для Бѣлинскаго еще до того момента, когда Гегель всецѣло овладѣлъ станкевичевскимъ кружкомъ. Уже въ письмѣ отъ 7-го августа 1837 г., которое, какъ мы видѣли, было яркимъ отраженіемъ „фихтѣанства“ Бѣлинскаго, заключается остоѵ мыслей, развитыхъ впослѣдствіи въ „Бородинской годовщинѣ“,—мыслей, которыя лежатъ темнымъ пятномъ на памяти великаго критика, являются девизомъ нѣсколькихъ печальныхъ лѣтъ его литературной дѣятельности, той эпохи, когда Бѣлинскій доходилъ до апологіи деспотизма, проповѣди рабства и дикой вражды къ прогрессу. Въ этомъ письмѣ онъ глашатай идеаловъ официальной народности. „Франція есть страна опыта, примѣненія идей къ жизни. Совсѣмъ другое назначеніе Россіи“. Въ этомъ письмѣ онъ — апологетъ рабства и кнута для Россіи. „Мы еще не имѣемъ правъ, мы еще рабы, если угодно, но это оттого, что мы еще должны быть рабами. Россія еще дитя, для котораго нужна нянька, въ груди которой билось бы сердце, полное любви къ своему питомцу, а въ рукѣ которой была бы лоза, готовая наказывать за шалости. Дать дитяти полную свободу — значитъ погубить его. Дать Россіи въ теперешнемъ ея состояніи свободу — значитъ погубить Россію“. Въ этомъ письмѣ Бѣлинскій — скептикъ, не вѣрящій въ русскій народъ, въ его здравый смыслъ и добрые инстинкты. Глубокое презрѣніе къ народу звучитъ въ слѣдую-

щихъ словахъ, въ которыхъ авторъ письма выражаетъ бюрократическую вѣру въ спасительную силу опеки. „Въ понятіи нашего народа *свобода* есть воля, а воля—озорничество. Не въ парламентъ пошелъ бы освобожденный русскій народъ, а въ кабакъ побѣжалъ бы онъ пить вино, бить стекла, вѣшать дворянъ, которые бреютъ бороду и ходятъ въ сюртукахъ, а не въ зипунахъ“. Всю надежду Бѣлинскій возлагаетъ на просвѣщеніе, а не на перевороты и конституціи. Николаевское правительство представляется ему идеаломъ правительства. Оно запрещаетъ писать противъ крѣпостного права, а само „исподволь освобождаетъ крестьянъ“. Все идетъ въ Россіи къ лучшему. Тирановъ-помѣщиковъ становится все меньше. Когда-то паденіе при дворѣ сопровождалось ссылкой въ Сибирь, а теперь — „много-много ссылкой въ свою деревню“. Когда-то осуждали на четвертованіе фельдмаршаловъ, а теперь „и насъ съ тобою, людей совершенно ничтожныхъ въ гражданскомъ отношеніи“, не будутъ четвертовать даже, если бы „мы были достойны этого“. Самодержавная власть даетъ свободу думать и мыслить. Она не позволяетъ вмѣшиваться въ ея дѣла, громко говорить, переводить книги, но она пропускаетъ послѣднія изъ-за границы. „*Все это хорошо и законно*, потому что то, что можешь знать ты, не долженъ знать мужикъ“. Правительство не позволяетъ выписывать политическихъ книгъ, но онѣ „послужили бы только ко вреду, кружа головы неосновательныхъ людей“. Зато оно допускаетъ изъ-за границы „все, что произведетъ германская мыслительность, самая свободная“. Итакъ, къ чорту политику, да здравствуетъ наука. Къ чорту французовъ. Германія—вотъ Іерусалимъ новѣйшаго человѣчества“.

Достаточно прочесть эти строки, чтобы убѣдиться, что не Гегель былъ причиной этого позорнаго политическаго индифферентизма, этой наивной идеализаціи

николаевского режима. Этого режима одного было достаточно, чтобы временно затмить общественное сознание даже такого писателя, как Бѣлинскій. И когда явился на сцену Гегель, его удобная форма послужила только рамкой, въ которую легко можно было вставить свой политическій индифферентизмъ. „Новый міръ намъ открылся, — пишетъ въ 1839 году Бѣлинскій, Станкевичу, вспоминая 1837 годъ. — Сила есть право, и право есть сила, — нѣтъ, не могу описать тебѣ, съ какимъ чувствомъ услышалъ я эти слова — это было освобожденіе. Я понялъ идею паденія царствъ, законность завоевателей; я понялъ, что нѣтъ дикой матеріальной силы, нѣтъ владычества штыка и меча, нѣтъ произвола, нѣтъ случайности и кончилась моя опека надъ родомъ человеческимъ, и значеніе моего отечества предстало мнѣ въ новомъ видѣ... Слово „дѣйствительность“ сдѣлалось для меня равносильно слову „Богъ“... Тотъ блаженнѣе, кто и кухню умѣетъ просвѣтлить мыслию безконечнаго“. Философія Гегеля сразу придала смыслъ необходимости всему отрицательному: „штыку и мечу“ и даже „кухнѣ“. Она облекала въ систему, дѣлала элементомъ безконечнаго то, что жило въ душѣ Бѣлинскаго въ это время. Примиреніе съ дѣйствительностью стало частью, элементомъ въ культъ Абсолютнаго Разума. „Теперь, — пишетъ Бѣлинскій къ Бакунину 14-го августа 1838 г., — когда я нахожусь въ созерцаніи безконечнаго, теперь я глубоко понимаю, что всякій правъ и никто не виноватъ: что нѣтъ ложныхъ ошибочныхъ мнѣній, а есть моменты духа“. Бѣлинскій даже не враждебенъ пошлымъ людямъ. „Имъ не дано жить въ духѣ... ихъ не должно ни ненавидѣть, ни презирать“. *Дѣйствительность* стала идоломъ Бѣлинскаго. Онъ твердитъ это слово, „вставая и ложась спать“. Оно пріучило его любить тѣхъ, кого онъ раньше ненавидѣлъ. Полный міръ сплоскелъ въ его душу. „Дикость его натуры“ стала ис-

чезать. Въ это время онъ былъ ожесточенъ противъ Шиллера, котораго юношескія трагедіи „наложили на него дикую вражду съ общественнымъ порядкомъ“.

Статья „Литературныя мечтанія“ была выраженіемъ шеллингіанскихъ симпатій Бѣлинскаго. Статья о системѣ нравственной філофіи Дроздова была написана подъ вліяніемъ философіи Фихте. Періодъ „примиренія“ и консерватизма, отмѣченный вліяніемъ Гегеля, вылился въ статьѣ „Бородинская годовщина“. Но прежде чѣмъ говорить объ этомъ пламенномъ и уродливомъ созданіи, завершающемъ періодъ философскихъ исканій, напомнимъ о другомъ кружкѣ, гдѣ шла совершенно иная работа. Правительство, которое, по словамъ Бѣлинскаго, пропускало въ Россію все, что „производила германская мыслительность“, и строго оберегало Россію отъ соціальныхъ и политическихъ идей, идущихъ изъ Франціи, могло терпѣть друзей Станкевича съ ихъ философскими спорами, но не потерпѣло Герцена. И вотъ въ то время, когда Бѣлинскій мучительно гнался за абсолютомъ, Герценъ страдалъ въ ссылке. Одинъ жилъ въ сферѣ абстрактныхъ умствованій, другой окунулся въ самую гущу жизни. Одинъ преклонялся передъ дѣйствительностью, другой переносилъ ея жестокіе удары. Когда Герценъ вернулся изъ ссылки, Бѣлинскій столкнулся впервые съ противникомъ, равнымъ ему по силѣ. Оба кружка стояли лицомъ другъ къ другу. Одинъ презиралъ либеральныя увлеченія другого съ высоты своихъ абстрактныхъ исканій. Второй платилъ первому тѣмъ же презрѣніемъ за его заимствованный у Гегеля политическій квіетизмъ. Столкновеніе было неизбежно. Говорятъ, друзья Герцена поставили вопросъ рѣзко и прямо и потребовали у Бѣлинскаго отвѣта, какъ примирить его „разумную дѣйствительность“ съ безпроевѣтнымъ настоящимъ русскаго общества. Бѣлинскій принадлежалъ къ числу тѣхъ натуръ, которыя не

останавливаются на полпути. Онъ не боялся доводить свою мысль до ея логическаго конца. Онъ самымъ рѣшительнымъ образомъ подтвердилъ всѣ послѣдствія своего взгляда.

Совершилось невѣроятное. Благороднѣйшій изъ русскихъ публицистовъ объявилъ себя единомышленникомъ режима гнета и насилія, мрачнѣ котораго не знало русское общество. Послѣ такого отвѣта все было кончено. Бѣлинскій и Герценъ стали врагами. Два писателя, имена которыхъ ставятся рядомъ во главѣ новаго пути, по которому пошла русская литература, были убѣждены, что дороги ихъ разошлись навсѣгда. Такъ, можетъ-быть, и случилось бы, если бы на мѣстѣ Бѣлинскаго былъ менѣе горячій искатель истины. Въ дѣйствительности столкновение оставило глубокій слѣдъ въ обоихъ противникахъ. Герценъ погрузился въ изученіе Гегеля, Бѣлинскій уѣхалъ въ Петербургъ, гдѣ сильно задумался. Вскорѣ мысль его приняла иное направленіе. „Вородинская годовщина“ была отвѣтомъ противникамъ по недоразумѣнію. Это было самое яркое выраженіе гегеліанскаго консерватизма. Прежде чѣмъ вступить на истинный путь, нужно было довести до абсурда свои заблужденія. Такова была натура Бѣлинскаго. По словамъ Панаева, Бѣлинскій былъ въ лихорадочномъ состояніи, когда читалъ ему эту статью. Когда Панаевъ пытался сдѣлать возраженіе, Бѣлинскій перебилъ его: „Я знаю, что,—не договариваете,—меня назовутъ лстецомъ, подлецомъ, скажутъ, что я кувыркаюсь передъ властями... Пусть ихъ. Я не боюсь открыто и прямо высказывать мои убѣжденія, чтобъ обо мнѣ не думали... Клянусь вамъ, что меня нельзя подкупить пичѣмъ!.. Мнѣ легче умереть съ голода—я и безъ того рискую этакъ умереть каждый день (и онъ улыбнулся при этомъ съ горькой проніей), чѣмъ потоптать свое человѣческое достоинство, унижить себя передъ кѣмъ бы то ни было или

продать себя"... Въ сущности, 30-е годы завершаются въ дѣятельности Бѣлинскаго не одной, а тремя статьями: во-первыхъ, по поводу „Бородинской годовщины“ Жуковскаго, во-вторыхъ, по поводу „Очерковъ бородинскаго сраженія“ Глинки и, наконецъ, статью „О Менцелѣ“. Вторая именно имѣется въ виду въ воспоминаніяхъ Панаева, приведенныхъ выше. Она получила наибольшую извѣстность. Но и другія двѣ не менѣе интересны для характеристики „примиренія“ Бѣлинскаго, особенно статья о Менцелѣ, которую Венгеровъ называетъ истинными „Геркулесовыми столбами“ гегеліанскаго періода. При этомъ Бѣлинскій нападаетъ здѣсь на Менцеля перваго періода, т.-е. либеральнаго нѣмецкаго писателя, а не на того, конечно, Менцеля, который впоследствии былъ заклеименъ именемъ доносчика. Статьи о Бородинской годовщинѣ являются выраженіемъ патріотическаго энтузіазма Бѣлинскаго, родственнаго официальному патріотизму, провозглашенному Уваровымъ. Статья о Менцелѣ — гимнъ во славу чистаго самодовлѣющаго искусства, чуждаго общественнымъ идеямъ и нравственной проповѣди.

Бородинская битва для Бѣлинскаго имѣетъ двойное значеніе. Она—одно изъ великихъ историческихъ событій, въ которыхъ раскрываются „безбрежныя равнины царства безконечнаго“. Во-вторыхъ, она—фактъ отечественной исторіи, поэтому „его субстанціальная родственность съ духомъ созерцающаго просвѣтлитель до прозрачности его таинственную сущность“. Иначе говоря, если въ каждомъ событіи можно разглядѣть уголокъ абсолютнаго, то для русскаго въ такомъ великомъ русскомъ событіи „таинственная сущность“ становится ясной до прозрачности. Вотъ почему „Бородинская годовщина“ Жуковскаго и книга Глинки даютъ Бѣлинскому поводъ къ патріотическимъ изліаніямъ мистическаго характера. Эти статьи — свое-

образное сочетаніе гегеліанства и офіціального патріотизма. Ихъ главныя мысли слѣдующія. Государство не есть учрежденіе человѣческое. Народъ не есть отвлеченное понятіе. И первое и второй суть элементы, имѣющіе высшее божественное происхожденіе. Все, что ни есть, — есть или являющійся разумъ (разумъ въ явленіи) или сознающій разумъ (разумъ въ сознаніи). Дѣло сознающаго разума — сознать дѣйствительность, а не творить ее, и потому разумъ пишетъ грамматику, но не сочиняетъ языка, пишетъ трактатъ объ организаціи общества, но не создаетъ общества. Какъ невозможно сочинить языка, такъ невозможно и устроить гражданское общество, которое устроится само собою безъ сознанія и вѣдома людей, изъ которыхъ оно слагается. Хотя Бѣлинскій говоритъ далѣе объ органическомъ развитіи государства, о значеніи географическихъ и климатическихъ условій какъ исходнаго пункта жизни каждаго народа, но въ сущности для него органически и естественно сложившееся государство есть элементъ въ процессѣ раскрытія абсолютной идеи. Всякая разумность, чтобы сдѣлаться разумностью, должна явиться сперва какъ естественность, какъ непосредственное откровеніе. „Всякая разумность священна, т.-е. имѣетъ свою мистическую таинственную сторону, и причина этой таинственности скрывается опять въ близости къ источнику всего сущаго, къ божественной идеѣ, первоначально осуществляющей во всеобщей родовой матеріи, въ сущномъ (субстанціальномъ) началѣ“. Поэтому и государство есть „непосредственное откровеніе“. Космополитъ есть ложное, двусмысленное, непонятное явленіе, а не живая дѣйствительность. Царская власть не есть послѣдствіе избранія или договора, какъ сказалъ бы „какой-нибудь либеральный аббатикъ-французъ“. Какъ и всякое „государственное коренное постановленіе“, она не законъ „изреченный

отъ человѣка“, а „является *довременно*“ и только выговаривается и сознается человѣкомъ. Изъ опыта нельзя вывести, какимъ образомъ изъ отеческой власти явилась царская, *отецъ* сталъ *царемъ*; но „въ умозрѣніи это очень понятно“. Царь есть намѣстникъ Божій, а „царская власть, замыкающая въ себѣ всѣ частныя воли, есть преобразование единодержавія вѣчнаго и довременнаго разума“. Имя монарха для подданныхъ есть слово мистическое, таинственное, священное.

Словомъ, основная государственная идея Бѣлинскаго сводится къ представленію о государствѣ и о монархѣ какъ о самодовлѣющей цѣли, притомъ цѣли, входящей въ общую систему цѣлей мірового разума. Общество „не имѣетъ причины въ нуждѣ и пользѣ людей, но есть само себѣ цѣль“. Иначе говоря, государство и монархъ не должны въ своихъ дѣйствіяхъ руководиться интересами гражданъ. Страданія и нужды этихъ послѣднихъ не должны приниматься въ расчетъ, такъ какъ они всѣ въ совокупности служатъ цѣлямъ абсолютной идеи.

Личность совершенно исчезаетъ у Бѣлинскаго за обществомъ. Человѣкъ долженъ отрѣшиться отъ своей субъективной личности, признавъ ее призракомъ и ложью, долженъ смириться передъ общимъ, признавъ только его дѣйствительностью. Петръ Великій, замучившій при помощи пытокъ своего сына Алексѣя, совершилъ „великій подвигъ великаго человѣка!“ потому что здѣсь „міръ объективный побѣдилъ міръ субъективный, общее побѣдило частное“; потому что здѣсь нравственный законъ восторжествовалъ надъ естественнымъ влеченіемъ отцовскаго сердца, и Петръ явился здѣсь полубогомъ, „осуществившимъ своею личностью все могущество человѣчества“.

Таковы основныя мысли знаменитой статьи, которую въ послѣдствіи съ краской стыда вспоминалъ Бѣ-

линскій; доведшій въ ней до Геркулесовыхъ столбовъ культъ дѣйствительности, оправдавшій здѣсь и пытки, и убійство, и муки страдающаго народа, какъ необходимыя проявленія Абсолютнаго Разума.

Примирительный взглядъ, положенный въ статьяхъ о Бородинской годовщинѣ въ основу государственныхъ воззрѣній, былъ въ статьѣ о Менцелѣ примѣненъ Бѣлинскимъ къ эстетикѣ и литературной критикѣ. Онъ врагъ поэзіи, въ которой слышатся слезы угнетеннаго человѣчества и протестъ противъ рѣжущихъ слухъ диссонансовъ жизни. Онъ называетъ жалкими безумцами тѣхъ, кто не въ состояніи уловить во всѣхъ безъ исключенія явленій лишь слѣды міровой гармоніи. „Добровольные мученики,—имъ нѣтъ покоя, для нихъ нѣтъ радости, нѣтъ счастья: тамъ гаснетъ свѣтъ просвѣщенія, тутъ гибнутъ добродѣтель и нравственность, здѣсь подавляется цѣлый народъ;—и съ воплемъ указываютъ они на виновниковъ такого ужаснаго зла, какъ-будто бы люди или человѣкъ въ состояніи остановить ходъ міра, измѣнить участь народа; какъ-будто бы нѣтъ Провидѣнія, и судьбы земнородныхъ предоставлены слѣпому случаю или слѣпой волѣ одного человѣка. Сумасброды! Внимательнѣе заглядывайте въ священную книгу судебъ человѣческихъ, въ вѣчную „книгу царствъ“—въ „исторію“... И тогда передъ такими внимательными историками раскроется великая истина, что все благо и всегда правъ судьбы законъ, какъ думалъ Ленскій. Погибла Греція, варвары уничтожили ея статуи, время сокрушило храмы, но остались обломки статуй, сохранилась „Иліада“, и „исчезнувшая жизнь свѣтлыхъ чадъ Эллады“ воскресла для насъ въ этихъ остаткахъ. Омаръ сжегъ Александрійскую бібліотеку, но „погодите проклинать Омара!“ Просвѣщеніе бессмертно. Омаръ сжегъ Александрійскую бібліотеку, „но не сжегъ Гомера и Платона, Эсхила и Демосеена, которыхъ мы знаемъ“,

и т. д. Въ мірѣ нѣтъ ненужныхъ и вредныхъ явленій, все направляется не человѣкомъ, а Высшимъ Разумомъ къ высшей цѣли. Съ этой точки зрѣнія критикъ долженъ смотрѣть на поэзію и поэта. Отъ него нельзя требовать, чтобъ онъ служилъ обществу. Поэтъ, „какъ органъ общаго и мірового, какъ непосредственное проявленіе духа, не можетъ ошибаться и говорить ложь“. Поэтому Менцель, основная идея котораго заключается именно въ томъ, что искусство должно служить обществу, подвергается жестокимъ нападкамъ со стороны Бѣлинскаго. Онъ возстаетъ противъ французской литературы. Поэзія Расина и Мольера, это—„пошлыя сентенціи въ гладкихъ стихахъ“. Сочиненія Вольтера—„наглое кощунство надъ всѣмъ святымъ и заветнымъ для человѣчества“. Гюго и Эженъ Сю „обоготворили неистовство животныхъ страстей“ и выдали „мясничество за трагедію и романъ“. Романы Жоржъ-Сандъ—нелѣпыя и возмутительныя творенія, имѣющія цѣлью приложить на практикѣ идеи сенъ-симонизма. „Какія же это идеи? О безподобныя! Именно, индустріальное направленіе должно взять верхъ надъ идеальнымъ и духовнымъ: должно распространиться равенство не въ смыслѣ христіанскаго братства, которое и безъ того существуетъ въ мірѣ со времени первыхъ двѣнадцати учениковъ Спасителя, а въ смыслѣ какого-то масонскаго или квакерскаго сектанства; должно уничтожить всякое различіе между полами, разрѣшивъ женщину на вся тяжкія и допустивъ ее вмѣстѣ съ мужчиною къ отправленію гражданскихъ должностей, а главное, предоставивъ ей завидное право мѣнять мужей по состоянію своего здоровья“... Необходимый результатъ этихъ глубокихъ и превосходныхъ идей есть уничтоженіе священныхъ узъ брака, родства, семейственности,—словомъ, совершенное превращеніе государства сперва въ животную и безчинную оргію, а потомъ—въ призракъ, построенный изъ словъ на воз-

духъ“. Такъ отнесся Бѣлинскій къ ученію того мыслителя, который былъ провозвѣстникомъ социализма, почти основателемъ научной социологіи. Станнымъ образомъ, „равенство въ смыслѣ христіанскаго братства“ привело Бѣлинскаго къ оправданію деспотизма и страданій народной массы, а „масонское и квакерское сектантство“ сенъ-симонистовъ положило начало великому движенію новѣйшаго времени: организованной борьбѣ за интересы трудящихся массъ.

Возставая противъ тенденціозной литературы, Бѣлинскій опредѣляетъ задачи „истинной поэзіи“: ея содержаніе не вопросы дня, а вопросы вѣковъ, не интересы страны, а интересы міра, не участь партій, а судьбы человѣчества“. Художникъ „въ дивныхъ образахъ осуществляетъ божественную идею для ней самой, а не для какой-либо внѣшней и чуждой ей цѣли“. Поэтъ „всею менѣе способенъ отзываться на современность, которая для него есть начало безъ середины и конца, явленіе безъ полноты и цѣлости, закрытое туманомъ страстей, предубѣжденій и пристрастій партій, и потому его вдохновеніе больше любитъ жить въ вѣкахъ минувшихъ и пробуждать исполинскія тѣни Ахилловъ и Гекторовъ, Ричардовъ и Генриховъ, или изъ нѣдръ собственнаго духа воспроизводить свои гигантскіе образы, каковы—Гамлетъ, Макбетъ, Отелло“... Дѣло Питтовъ и Метерниховъ—участвовать въ судьбѣ народовъ. Дѣло художниковъ—созерцать „полное славы твореніе“ и быть его органами. „Все, что есть,—говоритъ Бѣлинскій, повторяя слова Гегеля,—то необходимо, разумно и дѣйствительно“. Ни въ природѣ, ни въ исторіи нельзя найти ни одной погрѣшности, ни одного недостатка въ твореніи Предвѣчнаго Художника. А искусство есть воспроизведеніе дѣйствительности; слѣдовательно, его задача не поправлять и не прикрашивать жизнь, а показывать ее такъ, какъ она есть въ самомъ дѣлѣ.

Моралисты, это—„вампиры, которые мертвятъ жизнь холодомъ своего прикосновенія и силятся заковать ея безконечность въ тѣсныя рамки своихъ разсудочныхъ, а не разумныхъ опредѣленій“.

Таковы главныя идеи, которыя исповѣдывалъ Бѣлинскій въ московскій періодъ своей литературной дѣятельности. Статьи „Литературныя мечтанія“, „О нравственной философіи Дроздова“ и статьи о Бородинской годовщинѣ и Менцелѣ, это — три этапа въ исторіи философскихъ исканій Бѣлинскаго, это—отраженіе системъ Шеллинга, Фихте и Гегеля, трехъ великихъ германскихъ метафизиковъ, поочередно владѣвшихъ умами русской молодежи. Несмотря на различіе этихъ системъ, несмотря на своеобразное толкованіе, данное имъ нашимъ критикомъ, онъ правильно усвоилъ ихъ основное настроеніе, именно: страстный порывъ въ трансцендентный міръ, міръ абсолютнаго, и полное отвращеніе къ активному вмѣшательству въ „скорбную драму“ нашего временнаго бытія. Могъ ли долго оставаться такой публицистъ, какъ Бѣлинскій, на подобной точкѣ зрѣнія? Могъ ли долго оставаться скрытымъ отъ него тотъ фактъ, что эта философія трансцендентныхъ стремленій являлась превосходнымъ теоретическимъ обоснованіемъ гнета и насилія, что эта пѣсня о небѣ служить къ усыпленію страдающихъ массъ.

Въ 1843 году великій современникъ Бѣлинскаго, Генрихъ Гейне, возвращался на родину изъ Франціи, въ которой онъ видѣлъ, что „юный чистый геній прекрасной свободы обручился съ Европой“. На границѣ онъ встрѣтилъ малютку-арфистку, которая пѣла „о певѣдомомъ мірѣ далекихъ небесъ, гдѣ стихаютъ всѣ скорби и муки“. Со свойственнымъ ему горькимъ юморомъ оцѣнилъ поэтъ общественное значеніе этихъ пѣсенъ.

Та старинная пѣсня на небо зоветъ
Съ отреченьемъ отъ жизни печальной.
Этимъ гимномъ всегда усыпляютъ народъ,
Нашъ народъ истукаетъ колоссальный.
Мнѣ знакомъ древнихъ пѣсень старинный напѣвъ,
Знаю тѣхъ, кто сложили ихъ народу:
Втихомолку они распивали вино,
А намъ всѣмъ завѣщали пить воду.

Бѣлинскій въ Петербургѣ скоро понялъ, кому служилъ онъ своимъ гегеліанствомъ. Мы видѣли уже, что и во всѣхъ его философскихъ увлеченіяхъ, въ самомъ его стремленіи къ общественному индифферентизму не переставалъ биться пульсъ общественной жизни, слышался голосъ могучаго соціальнаго инстинкта.

Когда въ 1841 году Герценъ и Бѣлинскій встрѣтились, „недоразумѣніе“ кончилось, и недавніе противники пошли рука-объ-руку въ борьбѣ за общее дѣло.

Официальное народничество, славянофильство и западничество.

Причины, обусловившія „переломъ“ въ міросозерцаніи Бѣлинскаго.—Критика кружка, пробужденіе общественныхъ интересовъ, нападки на дѣйствительность николаевской эпохи и на отвлеченную философію.—Главные представители, органы и писатели-художники направленія официальной народности.—Отношеніе между славянофилами и западниками.—Главные представители и органы славянофильскаго направленія.—Міросозерцаніе славянофиловъ.—Связь ихъ основной идеи съ ученіемъ Шеллинга.—Мистическое представленіе о народѣ.—Историческія воззрѣнія славянофиловъ: различіе между ходомъ европейской и ходомъ русской исторіи, идеализація русской старины, взглядъ на петровскую реформу.—Православіе, самодержавіе и народность съ славянофильской точки зрѣнія.—Заслуги школы и отрицательныя стороны ея вліянія.—Западничество.

Переломъ въ настроеніи и міросозерцаніи Бѣлинскаго совершился въ теченіе перваго же года его пребыванія въ Петербургѣ. Въ то время, какъ въ „Отечественныхъ Запискахъ“ (въ концѣ 1839 г. и въ первой книгѣ 1840 г.) появлялись гордые и самоувѣренные панегирики дѣйствительности, законченное выраженіе московскаго идеализма Бѣлинскаго, — въ это время онъ уже глубоко страдалъ отъ начинавшагося разлада. Переписка, относящаяся къ этому періоду его

жизни, свидѣтельствуешь о томъ, какъ глубоко потрясла его въ Петербургѣ та самая дѣйствительность, которая представлялась въ Москвѣ такимъ необходимымъ элементомъ міровой гармоніи.

Почему Бѣлинскій отъ философскихъ исканій, отъ погони за абсолютнымъ обратился въ Петербургѣ къ злобѣ дня, окунулся въ гущу той жизни, на которую до тѣхъ поръ смотрѣлъ съ высотъ абсолютной идеи? Было много причинъ, которыя толкнули великаго писателя на этотъ новый путь и изъ метафизика и абстрактнаго мыслителя превратили его въ пламеннаго общественнаго борца. Обыкновенно указываютъ на то, что столкновение съ кружкомъ Герцена произвело сильное впечатлѣніе на Бѣлинскаго и заставило его призадуматься; далѣе, Бѣлинскій сталъ внимательнѣе знакомиться съ произведеніями Жоржъ-Сандъ и французскихъ утопистовъ, которыми тогда увлекались въ Петербургѣ. Наконецъ, въ Петербургѣ онъ сталъ лицомъ къ лицу съ той дѣйствительностью, которой не видѣлъ въ Москвѣ, вращаясь въ небольшомъ кружкѣ такихъ же гегеліанцевъ, какимъ былъ онъ самъ. Несомнѣнно, что послѣдняя причина, какъ показываетъ переписка съ Боткинымъ, была самой важной. Петербургъ сразу вырвалъ его изъ предѣловъ кружка и раскрылъ передъ нимъ самый механизмъ бюрократической машины. Только въ Петербургѣ можно было увидеть воочию гнетущее дѣйствіе желѣзной длани, давившей Россію. Предъ нимъ постепенно раскрывается несостоятельность его абстрактнаго отношенія къ дѣйствительности. Онъ начинаетъ понимать, что ихъ кружокъ „губилъ китаизмъ“, что они „весь Божій свѣтъ видѣли въ своемъ кружкѣ“, что они говорили о мнѣніи читающей публики, когда, въ сущности, стихотвореніе или статья восхитили „тебя, меня, Каткова, и прочихъ чудаковъ“. Онъ убѣждается, что только въ Петербургѣ можно понять, что такое читающая публи-

ка. Онъ начинаетъ „чувствовать ожесточеніе противъ идеальности“. Онъ любитъ Россію, но начинаетъ сознавать, „что это съ ея субстанціальной стороны, по ея опредѣленіе, ея дѣйствительность“ приводятъ его въ отчаяніе — „грязно, мерзко, возмутительно-нечеловѣчески“. Эта фраза особенно характерна. Сущность, субстанція, можетъ-быть, гармонична и прекрасна, но „опредѣленіе“, т.-е. явленія, — отвратительны. Старая точка зрѣнія, согласно которой отрицательныхъ явленій не можетъ быть, потому что въ каждомъ раскрывается частица абсолютнаго, исчезаетъ передъ этимъ новымъ отношеніемъ къ дѣйствительности. „Въ Питерѣ только поймешь, что религія (конечно, въ философскомъ, а не въ теологическомъ смыслѣ, — замѣчаетъ Пыпинъ) есть основа всего и что безъ нея человѣкъ — ничто, ибо Питерѣ имѣетъ необыкновенное свойство оскорбить въ *человѣкѣ* все святое и заставить въ немъ выйти наружу все сокровенное. Только въ Питерѣ *человѣкъ* можетъ узнать себя — *человѣкъ* онъ, *человѣкъ* или скотина: если будетъ страдать — въ немъ *человѣкъ*; если Питерѣ полюбитъ ему — будетъ или богатъ или дѣйствительнымъ статскимъ совѣтникомъ... Публика — господа офицеры и чиновники... позоръ и оскорбленіе *человѣчества* и общества“. Со своимъ неустаннымъ стремленіемъ къ истинѣ Бѣлинскій начинаетъ понимать, какое огромное значеніе долженъ имѣть Петербургъ въ исторіи его развитія. Петербургъ былъ для него „страшной скалой, о которую больно стукнулось мое прекраснодушіе“. Онъ говоритъ теперь о томъ, что „права личнаго *человѣка* такъ же священны, какъ и мірового гражданина, и что кто на вопль и судорожное сжатіе личности смотритъ свысока, какъ на отпаденіе отъ общаго, тотъ или мальчикъ, или эгоистъ, или дуракъ, — а мнѣ тотъ, и другой, и третій одинаково несносны“.

Трудно повѣрить, что эти строки писались въ то

самое время, когда въ статьяхъ о Бородинской годовщинѣ говорилось, что человѣкъ „долженъ отрѣшиться отъ своей субъективной личности, признавъ ее ложью и призракѣмъ, долженъ смириться передъ міровымъ, общимъ, признавъ только его истиной и дѣйствительностью“, когда Бѣлинскій восторгался Петромъ Великимъ, сумѣвшимъ замучить своего сына и заглушить „воплъ“ отца во имя общаго. Въ умѣ Бѣлинскаго шла борьба между прежними порывами къ абсолютному и новыми идеями. Еще долго въ письмахъ его попадаются фразы о неизбѣжности личнаго страданія, о необходимости каждаго явленія, какъ неизбѣжнаго элемента міровой жизни. Но новые мотивы, идея активнаго вмѣшательства въ жизнь, идея борьбы съ ея диссонансами, борьбы за права и счастье человѣчества все болѣе и болѣе торжествуютъ. Въ декабрѣ 1840 года онъ уже пишетъ, что хотя идея, высказанная имъ въ статьѣ о Бородинской годовщинѣ „вѣрна въ своихъ основаніяхъ“, но ему слѣдовало „развить и идею отрицанія, какъ историческаго права“. Онъ чувствуетъ, что право отрицанія такъ же священно и безъ него исторія превратилась бы „въ стоячее и вонючее болото“.

Вмѣстѣ съ новыми идеями въ Бѣлинскомъ просыпается уваженіе къ французскимъ мыслителямъ: „Тяжело и больно вспомнить! А дичь, которую я изрыгалъ въ неистовствѣ съ пѣной во рту противъ французовъ—этого энергичнаго, благороднаго народа, льющаго кровь свою за священнѣйшія права человѣчества“. Онъ съ ужасомъ вспоминаетъ о своемъ примиреніи „съ гнусной російской дѣйствительностью, этимъ китайскимъ царствомъ матеріальной животной жизни, чиновлюбія, крестолюбія, деньголюбія, взяточничества, безрелигіозности, разврата, отсутствія всякихъ духовныхъ интересовъ, торжества безстыдной и наглої глупости, посредственности, бездарности,—гдѣ все человѣческое

сколько-нибудь умное, благородное, талантливое осуждено на угнетеніе, страданіе, гдѣ цензура превратилась въ военный уставъ о бѣглыхъ рекрутахъ... гдѣ Пушкинъ жилъ въ нищенствѣ и погибъ жертвою подлости, а Гречи и Булгарины заправляютъ всею литературой, помощію доносовъ, и живутъ припѣваячи... Что есть, то разумно, да и палачъ вѣдь есть же, и существованіе его разумно и дѣйствительно, но онъ, тѣмъ не менѣе, гнусенъ и отвратителенъ". Германія теперь въ его глазахъ „государство позорное“.

Въ искренней и пламенной натурѣ „переломъ“ долженъ былъ стать такимъ же яркимъ и могучимъ, какимъ было самое заблужденіе. Бѣлинскій могъ остановиться на новомъ пути только тогда, когда ненависть къ заблужденіямъ стала такой же сильной, какой была его ненависть къ истинѣ. Вотъ строки, которыя могутъ считаться самымъ яркимъ выраженіемъ его отреченія: „Что мнѣ въ томъ, что живетъ общее, когда страдаетъ личность? Что мнѣ въ томъ, что геній на землѣ живетъ въ небѣ, когда толпа валяется въ грязи? Что мнѣ въ томъ, что я понимаю идею, что мнѣ открыть міръ идеи въ искусствѣ, въ религіи, въ исторіи, когда я не могу этимъ дѣлиться со всѣми, кто долженъ быть моими братьями по человѣчеству, моими ближними во Христѣ, но кто—мнѣ чужіе и враги по своему невѣжеству? Что мнѣ въ томъ, что для избранныхъ есть блаженство, когда большая часть и не подозреваетъ его возможностей? Прочь же отъ меня блаженство, если оно—достояніе мнѣ одному изъ тысячъ! Не хочу я его, если оно у меня не общее съ меньшими братьями моими. Сердце мое обливается кровью и судорожно сжимается кровью при взглядѣ на толпу и ея представителей. Горе, тяжелое горе овладѣваетъ мною при видѣ и босоногихъ мальчишекъ, играющихъ на улицѣ въ бабки, и оборванныхъ нищихъ, и пьянаго извозчика, и идущаго съ развода солдата, и бѣгущаго съ

портфелемъ подъ-мышкой чиновника, и довольнаго собою офицера, и гордаго вельможи... Я ожесточенъ противъ всѣхъ субстанціальныхъ началъ, связывающихъ въ качества вѣрованія волю человѣка! Отрицаніе—мой Богъ. Въ исторіи мои герои — разрушители стараго — Лютеръ, Вольтеръ, энциклопедисты, террористы, Байронъ (Каинъ) и т. п. Разсудокъ для меня теперь выше разумности (разумѣется—непосредственной), и потому мнѣ отраднѣе конюнства Вольтера, чѣмъ признаніе авторитета религіи, общества, кого бы то ни было!“

Этого отрывка достаточно, чтобы понять, что періодъ философскаго квіетизма кончился безвозвратно, что Бѣлинскій прошелъ свой антитезисъ развитія, вернулся къ самому себѣ и сталъ тѣмъ борцомъ и страстотерпцемъ родной литературы, какимъ имя его перешло въ потомство.

Лучше всего дѣятельность его въ этотъ второй періодъ выясняется, если очертить его отношенія къ господствовавшимъ въ 40-хъ годахъ тремъ главнымъ общественно-литературнымъ направленіямъ. Эти направленія были: офиціальная народность или реакціонное направленіе, явившееся идеологіей и оправданіемъ существующаго бюрократическаго режима; славянофильство или общественно-философское направленіе, исходившее изъ идеализаціи русской народности, отрицательно относившееся къ Западной Европѣ и чужеземнымъ идеямъ, направленіе націоналистическое, иногда узко-националистическое, но, тѣмъ не менѣе, скорѣе прогрессивное, чѣмъ реакціонное,—направленіе, искавшее въ глубинахъ русскаго національнаго характера не аргументаціи въ пользу обскурантизма и гнета, а скорѣе оправданія идей прогресса и гуманности. Наконецъ третье—западничество. Это было движеніе, которое надолго опредѣлило ходъ русской литературы и которое далеко не укладывалось въ рамки своего названія, охвативъ широкій кругъ идей и со-

бравъ подъ своимъ знаменемъ величайшихъ представителей русской художественной литературы. Бѣлинскій во второй періодъ своей дѣятельности былъ центральной фигурой русской журналистики. Онъ былъ душою западнаго кружка и тѣхъ журналовъ, которые были отраженіемъ западныхъ идей. Онъ былъ непримиримымъ врагомъ официальнаго народничества и первый изъ членовъ кружка объявилъ войну славянофиламъ, съ которыми его друзья не сразу порвали отношенія. Поэтому статьи Бѣлинскаго и въ теченіе 40-хъ годовъ остаются лучшимъ матеріаломъ для изученія развитія русской общественной и художественной мысли въ это замѣчательное десятилѣтіе.

Главные принципы, на которые опиралось официальное народничество, уже выяснено выше. Необходимо выяснить основныя идеи славянофильства и западничества, а также установить отношеніе Бѣлинскаго ко всѣмъ тремъ направленіямъ. Но прежде чѣмъ перейти къ этой задачѣ, скажемъ нѣсколько словъ о внѣшней исторіи указанныхъ направленій, объ ихъ возникновеніи, о главныхъ представителяхъ и органахъ, которые служили отраженіемъ ихъ идей. Образованіе этихъ трехъ главныхъ группъ въ первой половинѣ 40-хъ годовъ свидѣтельствовало о томъ, что русская общественная мысль начала дифференцироваться. Изъ міра абстракцій, гдѣ люди самыхъ различныхъ склонностей и вкусовъ сходились въ мечтѣ о міровой гармоніи, русскіе писатели спустились въ міръ дѣйствительности, и тогда каждому пришлось занять свое мѣсто. Дѣйствительность, практика, обладаетъ тѣмъ драгоцѣннымъ свойствомъ, что она разсѣиваетъ иллюзіи и обнаруживаетъ истинную подкладку всякаго челоуѣка. Именно дѣйствительность показала, что пребываніе въ одномъ кружкѣ такихъ людей, какъ Бѣлинскій и Катковъ, было глубокимъ недоразумѣніемъ.

Главными органами патріотовъ уваровскаго типа

были въ Петербургѣ: знаменитая газета „Сѣверная Пчела“, руководителемъ которой былъ Булгаринъ, да-
лѣе „Маякъ“ Бурачка, „Библіотека для чтенія“ Сен-
ковскаго, писавшаго подѣ pseudонимомъ барона Брам-
беуса. Въ Москвѣ органомъ „патріотовъ“ былъ „Моск-
витянинъ“, издававшійся подѣ редакціей Погодина
при участіи его друга проф. Шевырева. Если къ
этимъ именамъ присоединить имя Греча, друга Булга-
рина, мы получимъ списокъ главныхъ журналистовъ,
употреблявшихъ всѣ усилія, чтобы возвести въ перлъ
государственной мудрости и философскаго глубоко-
мыслия бюрократическія оргіи 40-хъ годовъ. Слѣдуетъ
замѣтить, что среди журналистовъ этого лагеря были
люди различнаго нравственнаго уровня. Были просто
доносчики,—люди, не брезгавшіе никакими средствами,
были кружки, гдѣ, по выраженію Пыпина, „странно
соприкасались литература и тайная полиція“. Тако-
выми, по преимуществу, является знаменитая чета
Булгарина и Греча. Были люди, не лишеныя знанія,
таланта и остроумія, въ родѣ Сенковскаго, но слу-
жившіе низменнымъ вкусамъ и равнодушные къ ши-
рокимъ общественнымъ вопросамъ. Наконецъ, были
люди, не лишеныя искренности, широкаго образова-
нія, представлявшіе даже извѣстную умственную силу.
Къ числу такихъ, по преимуществу, принадлежали
московскіе „патріоты“, особенно Шевыревъ, одно время
популярный профессоръ, человѣкъ, умѣвшій будить
мысль. Шевыревъ вмѣстѣ съ Погодинымъ близко
стояли къ славянофиламъ, но ихъ рѣзко отдѣляли
демократическія и либеральныя струи, облагоражи-
вавшія славянофильское ученіе и ненавистныя угодли-
вымъ представителямъ кваснаго патріотизма.

Эта „патріотическая“ журналистика поддерживала
и развивала своеобразную художественную патріоти-
ческую литературу. Главнымъ представителемъ этой
литературы былъ популярный въ то время романистъ

Кукольникъ, писавшій надутыя патриотическія драмы, имѣвшія огромный успѣхъ. Къ этой же категоріи тогдашней литературы слѣдуетъ отнести извѣстнаго романиста Загоскина, писателя, не лишеннаго искренности и фантазіи, но тоже служившаго дѣлу реакціи и застоя своими „историческими“ романами. Само собою разумѣется, что направленіе это было единственнымъ, которое пользовалось покровительствомъ бюрократическаго правительства. Несмотря на извѣстный разнородный составъ его представителей, оно въ цѣломъ было добровольной идейной охраной существующаго режима, апологіей основъ, на которыя всего удобнѣе было опираться этому режиму. Цѣлый рядъ фактовъ свидѣтельствуютъ о томъ, какое трогательное согласіе существовало между властями и „патриотической“ литературой, какихъ привилегій и льготъ добивались путемъ позорной угодливости литераторы извѣстнаго рода. Ни предательство, ни ренегатство, ни подлое раболѣпіе не останавливали ихъ, когда рѣчь шла о достиженіи извѣстныхъ выгодъ. Количество этихъ фактовъ, освобожденныхъ въ настоящее время отъ тѣмны забвенія, въ которую повергли ихъ покровительственныя запрещенія, растетъ съ каждымъ днемъ. Достаточно перечестъ въ книгѣ Лемке „Николаевскіе жандармы“ интересные документы, относящіеся къ карьерѣ одного Булгарина, чтобы понять, до какого паденія дошли писатели патриотическаго лагеря, кого выбирало себѣ въ идейные сотрудники правительство императора Николая. Карьера Булгарина — это исторія пресмыкающагося. Сынъ польскаго революціонера, онъ въ 1831 году по приказу Бенкендорфа пишетъ „правительственное сообщеніе“ о польскомъ возстаніи, гдѣ клеймитъ своихъ соотечественниковъ именемъ „злоумышленниковъ“, а ихъ попытки — „злодѣйскимъ замысломъ“, „гнусною цѣлью“. Какъ ни смотрѣть на причины и характеръ польскаго возстанія, но едва

ли можетъ быть два мнѣнія относительно нравственнаго характера того факта, что именно сынъ польскаго революціонера взялся за составленіе негодующей реляціи въ защиту православія, самодержавія и русской народности отъ покушеній его соотечественниковъ. Въ 1826 году Булгаринъ пишетъ униженную просьбу, въ которой, ссылаясь на свою безпорочную десятилѣтнюю литературную дѣятельность, на то, что онъ ни разу „не погрѣшилъ противъ установленнаго порядка вещей“, умоляетъ забыть его прошлое, возбуждавшее сомнѣніе въ правительственныхъ сферахъ. Мольба была услышана, и Булгаринъ сталъ фаворитомъ. „Пчела“ завладѣла монополіей газетнаго дѣла. „Неужто кромѣ „Сѣверной Пчелы“, — писалъ Пушкинъ, — ни одинъ журналъ не смѣетъ у насъ объявить, что въ Мексикѣ было землетрясеніе и что камера депутатовъ закрыта до сентября?“ Только газета Булгарина имѣла право сообщать тѣ скудныя политическія новости о Россіи и Европѣ, которыя правительство находило позволительнымъ знать для русскаго общества. Словомъ, за холопскую угодливость Булгарину было отдано на откупъ дѣло политическаго развитія русской читающей публики. До какой степени патріотическая литература пользовалась охраной со стороны властей, доказываетъ запрещеніе въ 1834 году лучшаго московскаго журнала „Московского Телеграфа“ только за то, что журналъ дерзнулъ раскритиковать нелѣпную патріотическую драму Кукольника „Рука Всевышняго отечество спасла“. Бѣдный Полевой, редактировавшій „Телеграфъ“, не зналъ, что на постановку пьесы правительство, щедрое, когда дѣло шло о возбужденіи патріотизма, израсходовало 40,000 руб., что Николай I горячо апплодировалъ пьесѣ на первомъ представленіи. Любопытный докладъ, представленный по этому поводу Уваровымъ государю, приведенъ въ книгѣ Лемке „Николаевскіе жандармы“.

Таковы были представители и внѣшняя исторія „патріотической литературы“. Ее хорошо охраняли отъ конкурентовъ. Ея представителямъ не на что было жаловаться. Въ 1855 г. „грачи-разбойники“ (какъ называлъ Пушкинъ болгаринскую клику), издававшіе „Пчелу“, получили по 24,000 рублей дохода.

Обратимся теперь къ органамъ и представителямъ двухъ другихъ направленій, которыя являются дѣйствительно общественно-литературными теченіями и не имѣютъ ничего общаго съ Третьимъ отдѣленіемъ. Славянофилы стояли тоже на національно-патріотической точкѣ зрѣнія, нѣкоторые изъ нихъ были въ близкихъ отношеніяхъ съ руководителями „Москвитянина“, и поэтому неудивительно, что ихъ смѣшивали съ представителями официальной народности. Но между тѣми и другими лежала глубокая пропасть. Славянофильство было дѣйствительно философскимъ и общественно-литературнымъ направленіемъ, тогда какъ для Булгарина и Греча литература и философія были, въ сущности, вывѣской, прикрывавшей ихъ темныя дѣла. „Общаго между ними, — говоритъ Герценъ, — не было ничего кромѣ словъ. Крайности и нелѣпости славянофиловъ все-же были безкорыстно нелѣпы и безъ всякаго отношенія къ III отдѣленію и управѣ благочинія. До какой степени славянофилы по чистотѣ побужденій стояли близко къ западникамъ, всего лучше показываютъ строки, посвященные имъ Герценомъ въ его „Быломъ и думахъ“. „Рядомъ съ нашимъ кругомъ были наши противники, *nos amis les ennemis* или, вѣрнѣе, *nos ennemis les amis* — московскіе славянофилы. Возвратившись изъ Новгорода, я засталъ оба стана на барьерѣ. Славяне были въ полномъ боевомъ порядкѣ, съ своей легкой кавалеріей подъ начальствомъ Хомякова и чрезвычайно тяжелой пѣхотой Шевырева и Погодина“. Война обоихъ направленій сильно занимала московскіе круги.

Но даже Герценъ, поставившій рядомъ Хомякова съ Погодинымъ, ясно опредѣляетъ, въ чемъ заключалась черта, роднившая западниковъ и славянофиловъ,— и тѣ, и другіе были выразителями общественнаго протеста. „Въ лицѣ Грановскаго московское общество привѣтствовало рвущуюся къ свободѣ мысль Запада,— мысль умственной независимости и борьбы за нее. Въ лицѣ славянофиловъ оно протестовало противъ оскорбленнаго чувства народности бироновскимъ высокомеріемъ петербургскаго правительства“. Такимъ образомъ, несмотря на коренное разногласіе, славянофилы и западники въ первой половинѣ 40-хъ годовъ еще сходились какъ друзья, несогласные въ своихъ воззрѣніяхъ, но все-таки друзья. И тѣ, и другіе были людьми европейски образованными, и какъ ни рвались славянофилы къ самобытности, какъ ни хотѣли они бороться противъ старѣющей культуры Запада, исходнымъ пунктомъ ихъ міровоззрѣнія была поэтическая и туманная философія Шеллинга, великаго нѣмца, который долго владѣлъ и умами западниковъ.

Старшими вождями славянофильства были Хомяковъ (1804—1860) и братья Кирѣевскіе (Ив. 1806—1856 и Петръ 1808—1856). Хомяковъ, по выраженію Герцена, былъ „Ильею Муромцемъ, разившимъ всѣхъ со стороны православія и славянизма“. „Умъ сильный, подвижной, богатый средствами и неразборчивый на нихъ, богатый памятью и быстрымъ соображеніемъ, онъ горячо и неутомимо проспорилъ всю свою жизнь. Боецъ безъ усталости и отдыха, онъ билъ и кололъ, нападалъ и преслѣдовалъ, осыпалъ остротами и цитатами“... Оба брата Кирѣевскіе, по выраженію того же автора „Былого и думъ“, стоятъ „печальными тѣнями на рубежѣ народнаго воскресенія“. Особенно тяжело было положеніе Ивана Кирѣевскаго, который благодаря преслѣдованіямъ цензуры разорился на своихъ изданіяхъ. И этого человѣка, „чистаго и твердаго, какъ

сталъ, раздѣла ржа страшнаго времени“. Онъ былъ „поклонникомъ свободы и великаго времени французской революціи“. И не могъ „раздѣлять пренебреженія ко всему европейскому новыхъ старообрядцевъ“. Онъ однажды сказалъ Грановскому: „Сердцемъ я больше связанъ съ вами, но не дѣлю многого изъ вашихъ убѣжденій; съ нашими я ближе въѣрой, но столько же расхожусь въ другомъ“. Среди болѣе молодыхъ членовъ группы слѣдуетъ назвать братьевъ Константина и Ивана Аксаковыхъ, Юрія Самарина, Кошелева и т. д. Герценъ считаетъ 1844 годъ эпохой окончательнаго разрыва, когда споры дошли до того, что обѣ партіи не хотѣли больше встрѣчаться. Какъ глубоко любили и уважали другъ друга представители обоихъ лагерей, чего стоилъ имъ разрывъ,—показываетъ слѣдующій эпизодъ, сообщаемый Герценомъ и относящійся именно къ этому 1844 году. „Я какъ-то шелъ по улицѣ, К. Аксаковъ ѣхалъ въ саняхъ. Я дружески поклонился ему. Онъ было проѣхалъ, но вдругъ остановилъ кучера, вышелъ изъ саней и подошелъ ко мнѣ. „Мнѣ было слишкомъ больно,—сказалъ онъ,—проѣхать мимо васъ и не проститься съ вами. Вы понимаете, что послѣ того, что было между вашими друзьями и моими, я не буду къ вамъ ѣздить; жаль, жаль, но дѣлать нечего. Я хотѣлъ пожать вамъ руку и проститься“. Онъ быстро пошелъ къ санямъ, но вдругъ воротился. Я стоялъ на томъ же мѣстѣ, мнѣ было грустно; онъ бросился ко мнѣ, обнялъ меня и крѣпко поцѣловалъ. У меня были слезы на глазахъ. Какъ я любилъ его въ эту минуту ссоры“.

Къ чему же сводилась сущность міросозерцанія славянофиловъ? Прежде всего необходимо помнить, что славянофилы были проникнуты тѣмъ же метафизическимъ и даже мистическимъ настроеніемъ, какое преобладало вообще въ кружкахъ молодежи 40-хъ годовъ, Для нихъ міръ былъ не міромъ явленій, связь и за-

коны развитія которыхъ необходимо изслѣдовать, а художественныхъ твореніемъ, въ явленіяхъ котораго слѣдуетъ видѣть дыханіе единой идеи, воли создаващаго его Творца. Стоя на почвѣ этого шеллингianaскаго міросозерцанія, славянофилы особенно ярко примѣнили его къ своему ученію о народѣ и народности. Мистическое представленіе о народѣ было исходнымъ пунктомъ всего славянофильскаго ученія. Въ ихъ глазахъ каждый народъ осуществлялъ въ своемъ историческомъ бытіи особую миссію, для которой онъ посланъ въ міръ Провидѣніемъ. Въ своихъ критическихъ статьяхъ, напечатанныхъ въ „Московскомъ Сборникѣ“ за 1847 годъ, К. Аксаковъ говоритъ о „народѣ, могущественномъ хранителѣ жизненной великой тайны“, о „глубокой сущности русскаго народа“. Такова основная идея славянофильства. Народъ есть посланникъ Бога. Человѣческія старанія безсильны передъ волей Творца. Измѣнить сущность народа, направить его жизнь по иной колѣѣ, не предопредѣленной свыше, — бесплодная задача. Люди, задающіеся подобной задачей, вносятъ только смуту въ правильный процессъ національнаго развитія, но народъ рано или поздно разрушитъ попытки теоретиковъ и мечтателей, потому что онъ не можетъ пойти по иному пути кромѣ назначеннаго Провидѣніемъ.

Изъ этой метафизической идеи національной сущности вытекали всѣ главныя идеи славянофильства. Во-первыхъ, славянофиламъ предстояло выяснить, въ чемъ заключается сущность русскаго народа, опредѣлить характеръ миссіи, опредѣленной ему Провидѣніемъ, установить русскую національную идею. Для этого необходимо было обратиться къ русской исторіи, такъ какъ въ своемъ историческомъ бытіи осуществляетъ народъ возложенныя на него идеальныя задачи. Прошлое западныхъ и славянскихъ народовъ привело славянофиловъ къ убѣжденію, что между западнымъ,

романо-германскимъ міромъ, съ одной стороны, и восточнымъ, православно-славянскимъ—съ другой, существуетъ коренная противоположность. Въ „запискѣ о внутреннемъ состояніи Россіи“, представленной въ 1855 году императору Александру II, К. Аксаковъ устанавливаетъ эти идеальныя начала, раскрывающіяся въ русской исторіи. Главное отличіе этой исторіи отъ процесса образованія западныхъ государствъ заключается въ томъ, что послѣднія сложились путемъ завоеваній, тогда какъ Русское государство образовалось мирнымъ путемъ. Русский народъ не стремится къ государственной власти и не ищетъ и никогда не искалъ политическихъ правъ. „Самымъ первымъ доказательствомъ тому,—говоритъ Аксаковъ,—служитъ начало нашей исторіи: добровольное призваніе чужой государственной власти въ лицѣ варяговъ, Рюрика съ братьями. Еще сильнѣйшимъ доказательствомъ служитъ тому Россія 1612 года, когда не было царя, когда все государственное устройство лежало вокругъ, разбитое вдребезги, и когда побѣдоносный народъ стоялъ еще вооруженный, въ умиленіи торжества надъ врагами, освободивъ всю Москву: что сдѣлалъ этотъ могучій народъ, побѣжденный при царѣ и боярахъ, побѣдившій безъ царя и бояръ, со стольникомъ княземъ Пожарскимъ да мясникомъ Козьмою Мининымъ во главѣ, выбранными имъ же? Что сдѣлалъ онъ? Какъ нѣкогда въ 862 году, такъ и въ 1612 народъ призвалъ государственную власть, избралъ царя и поручилъ ему неограниченную судьбу свою, мирно сложивъ оружіе и разошедшись по домамъ“. Въ виду этого монархической власти не зачѣмъ ограждать себя, — ея незыблемость основана на самой сущности народнаго склада. Ту же мысль высказываетъ Кирѣевскій въ своей статьѣ „о характерѣ просвѣщенія Европы и его отношеніи къ просвѣщенію Россіи“: „Не искаженная завоеваніемъ, русская земля въ своемъ внутреннемъ

устройствѣ не стѣснялась тѣми насильственными формами, какія должны возникать изъ борьбы двухъ ненавистныхъ другъ другу племенъ, принужденныхъ въ постоянной враждѣ устраивать свою совмѣстную жизнь. Въ ней не было ни завоевателей, ни завоеванныхъ. Она не знала ни желѣзнаго разграниченія неподвижныхъ сословій, ни стѣснительныхъ для одного преимуществъ другого, ни истекающей оттуда *политической и нравственной* борьбы. Она не знала и необходимаго порожденія этой борьбы: искусственной формальности общественныхъ отношеній и болѣзненнаго процесса общественнаго развитія, совершающагося насильственными измѣненіями законовъ и бурными переломами постановленій. И князья, и бояре, и духовенство, и народъ, и дружины княжескія, и дружины боярскія, и дружины городскія, и дружина земская, — всѣ классы и виды населенія были проникнуты однимъ духомъ, одними убѣжденіями, однородными понятіями, одинаковою потребностью общаго блага“. Поэтому отношенія въ Русскомъ государствѣ построены на внутренней, а не внѣшней правдѣ. Имъ противенъ духъ формализма. Въ нихъ живутъ нравственныя требованія, а не принципъ обязательствъ и внѣшней пользы. Приписывая русскому народу особый складъ, славянофилы распространяли его и на другіе славянскіе народы. Вслѣдствіе начавшагося въ началѣ XIX вѣка броженія среди славянскихъ народностей, большое распространеніе получила идея панславизма, идея всеславянскаго движенія, причемъ миссія Россіи, которая станетъ во главѣ этого движенія, увлекла патріотовъ своей грандіозностью.

Изъ этихъ общихъ историческихъ взглядовъ славянофильства вытекали его воззрѣнія на древнюю Русь и на реформы Петра Великаго. Быть древней Руси они возводили въ идеаль, реформы Петра Великаго, пытавшагося пересадить къ намъ западную образованность

и нѣкоторыя формы западной жизни, славянофилы считали большимъ несчастьемъ для Россіи. Въ древней Руси было, по ученію К. Аксакова, два начала: *земля* и *государство*. Земля призвала государство. Они жили мирно рядомъ, потому что „не личное самолюбіе, не гордость западной свободы была здѣсь, а обоюдное искреннее желаніе пользы. Землю и государство, людей *земскихъ* и людей *служилыхъ* соединяла вѣра и жизнь: „Всякій чиповникъ, начиная отъ боярина, былъ свой человекъ народу“. Вѣчевое устройство представлялось славянофиламъ идеаломъ. Здѣсь, по замѣчанію одного славянофильскаго критика, не было раздѣленія на большинство и меньшинство, что обозначаетъ разложеніе общиннаго начала. Вѣче было выраженіемъ этого послѣдняго. Цѣль его—вынести и спасти единство. Отъ этого оно обыкновенно оканчивается въ лѣтописяхъ формулой: „снисодшася вси въ любовь“. Многіе идеалы, которые западники считали результатомъ европейскаго просвѣщенія, славянофилы отыскивали въ древней Руси. Московскіе послы, говорившіе шведамъ „сотворилъ Богъ человека *самовластиа* и далъ ему волю сухимъ и воднымъ путемъ, гдѣ онъ захочетъ ѣхать“, уже выразили принципъ свободы международныхъ отношеній и торговли. Свобода вѣроисповѣданій обнаружилась въ томъ, что англичанамъ предоставлено было у насъ жить „въ своей вѣрѣ“ и т. д.

Петръ Великій внесъ разладъ въ ту гармонию, которая царилъ въ древней Руси. Въ упомянутой уже запискѣ К. Аксакова лучше всего выразились взгляды славянофиловъ на петровскую реформу, которая служила однимъ изъ главныхъ пунктовъ ихъ разногласія съ западниками. Послѣдніе не видѣли въ реформахъ Петра искусственныхъ формъ жизни, навязанныхъ Россіи. Усвоеніе результатовъ европейскаго просвѣщенія было необходимостью, которая диктовалась естественнымъ ходомъ русской исторіи. Славянофилы

утверждали противное: „Переворотъ Петра, несмотря на весь внѣшній блескъ свой,—говорить К. Аксаковъ,—свидѣтельствуегъ, какое глубокое внутреннее зло производитъ величайшій геній, какъ скоро онъ дѣйствуетъ одиноко, отдаляется отъ народа и смотритъ на него какъ архитекторъ на кирпичи. При Петрѣ началось то зло, которое есть и зло нашего времени. Какъ всякое неизлѣченное зло, оно усилилось съ теченіемъ времени и составляетъ коренную язву нашей Россіи. Я долженъ опредѣлить это зло. Если народъ не посягаетъ на государство, то и государство не должно посягать на народъ“. На Западѣ всегда шла борьба между этими двумя элементами. Въ Россіи народъ и правительство жили „въ благоденственномъ союзѣ“. Въ лицѣ Петра государство посягнуло на народъ, вторглось въ его жизнь, въ его бытъ, измѣняло насильственно его нравы, его обычаи, самую его одежду. Съ этого времени произошелъ разрывъ въ русскомъ народѣ. „Служилые люди или верхніе классы оторвались отъ русскихъ началъ... зажили, одѣлись и заговорили по-иностранному“. Русский народъ сохранилъ свой духъ, но Петръ покинулъ Москву и въ Петербургѣ, отдаленномъ отъ сердца Россіи пунктѣ окружилъ себя пришлымъ населеніемъ новообразованныхъ русскихъ. Союзъ между царемъ и народомъ, государствомъ и землей рушился, государство стало завоевателемъ, а русская земля какъ бы завоеванной. „Русскій монархъ,—говорилъ К. Аксаковъ,—получилъ значеніе деспота, а свободно-подданный народъ—значеніе раба-невольника въ своей землѣ“. Аксаковъ и не подозревалъ, что этимъ взглядомъ на „переворотъ“ Петра онъ въ корнѣ подрывалъ мистическую вѣру славянофиловъ въ единеніе русскаго царя и навода. При первомъ же столкновеніи земли и государства онъ рѣзко сталъ на сторону первой и объявилъ второе нарушителемъ гармоніи. По мысли славянофиловъ, Петръ былъ

создателемъ той чуждой народу бюрократіи, которая стоитъ между народомъ и царемъ, въ средѣ которой, какъ на Западѣ, идетъ чуждая русскому народу борьба за политическую власть. Прежде свободно повинующійся народъ сталъ рабомъ, который всегда готовъ стать бунтовщикомъ: „Изъ цѣпей рабства куются безпощадные ножи бунта“. Такъ разрушилъ Петръ вѣковую гармонію, и необходимо вернуться къ прошлому, уничтожить слѣды этой реформы, уже начинающей вредно сказываться и на народѣ. Необходимо вернуться къ прошлому, пока народъ еще хранить древнія начала, противится рабскому чувству и иностранному вліянію верхняго класса.

Такова въ общихъ чертахъ историческая концепція славянофильства. Она тѣсно связана съ ихъ представленіями о той роли, которую играло православно-религіозное чувство въ исторіи русскаго народа. Взглядъ на тѣсную связь между православіемъ и историческимъ развитіемъ русскаго народа постоянно высказывается въ сочиненіяхъ славянофиловъ. Въ своей статьѣ „О возможности русской художественной школы“, напечатанной въ „Московскомъ Сборникѣ“ 1847 года, Хомяковъ развиваетъ подробно эту идею. По его мнѣнію, христіанство представляетъ соединеніе идей свободы и единства въ нравственномъ законѣ взаимной любви. Римскій и германскій миръ построены на идеѣ антагонизма, вражды между этими двумя началами. Латинская церковь поставила въ этой борьбѣ идею единства выше идеи свободы и подчинила вторую первой. Это одностороннее пониманіе христіанства должно было вызвать реакцію, и протестантство было неизбежнымъ порожденіемъ католичества. Оно было односторонностью противоположнаго рода, удержало идею свободы и принесло ей въ жертву идею единства. Католическая церковь связала западное человѣчество закономъ внѣшняго единства. Протестантство уничто-

жило всякое освящающее начало извнѣ, протестантская церковь въ области религіи привела къ „неопредѣленности философскаго мышленія, т.-е. философскаго скепсиса“, а въ области общественной жизни она привела къ состоянію „безпредѣльнаго броженія, которымъ потрясенъ западный міръ“. Въ наше время судъ исторіи совершается надъ обанкротившимся латинско-протестантскимъ міромъ. Соціальныя системы въ родѣ сенъ-симоновской и философскія ученія въ родѣ гегеліанства, идя различными путями, имѣютъ одну цѣль, — пополнить пустоту, оставленную въ западномъ обществѣ паденіемъ прежней вѣры. Онѣ обличили язву, но исцѣлить ее не могли. Онѣ раскрыли глубину бездны, въ которую опускается западный міръ, но не могли поднять этотъ міръ благодаря „субъективной произвольности, на которой онѣ основаны“. Словомъ, Хомяковъ усматриваетъ причины мнимой гибели европейской цивилизаціи въ непониманіи или въ одностороннемъ пониманіи христіанства.

Ошибка можетъ быть исправлена только при условіи возстановленія утраченной гармоніи, при условіи пониманія вѣчной истины христіанства въ ея полнотѣ, т.-е. „въ тождествѣ единства и свободы, проявляемомъ въ законѣ духовной любви“. Православіе является именно такимъ пониманіемъ христіанства. „Всякое другое пониманіе,—говоритъ Хомяковъ,—отнынѣ сдѣлалось невозможнымъ. Представителемъ же этого пониманія является Востокъ, по преимуществу же земли славянскія и во главѣ ихъ наша Русь, принявшая чистое христіанство издревле, по благословенію Божьему и сдѣлавшаяся его крѣпкимъ сосудомъ, можетъ-быть, въ силу того общиннаго начала, которымъ она жила, живетъ, и безъ котораго жить не можетъ. Она прошла чрезъ великія испытанія, она отстояла свое общественное и бытовое начало въ долгихъ и кровавыхъ борьбахъ, по преимуществу же въ борьбѣ,

возведшей на престолъ Михаила, и сперва спасшая эти начала для самой себя, она теперь должна явиться ихъ представительницей для цѣлаго міра. Таково ея призваніе, ея удѣлъ въ будущемъ. Намъ позволено смотрѣть впередъ смѣло и безбоязненно“. Въ этой тирадѣ ясно обнаруживается та связь, которую устанавливало славянофильство между православіемъ и русской исторіей. Православіе было тѣмъ идеальнымъ началомъ, которое раскрывается въ русской исторіи. Православіе — то начало, осуществленіе котораго и есть священная миссія, опредѣленная русскому народу. „По заслугамъ,—говоритъ К. Аксаковъ,—дался и истинный и ложный пути вѣры, — первый — Руси, второй — Западу“.

Установивъ общія философско-историческія предпосылки, изъ которыхъ исходило славянофильство, нетрудно понять, какихъ началъ должна была придерживаться школа въ своихъ государственныхъ воззрѣніяхъ. Начала эти номинально совпадали съ принципами, которые начертало на своемъ знамени официальное народничество: православіе, самодержавіе, народность. Но по существу между ними было глубокое различіе. Православіе въ пониманіи славянофиловъ далеко расходилось съ толкованіемъ его у представителей официальной народности. Славянофилы возставали противъ вмѣшательства свѣтской власти въ дѣла Церкви и нерѣдко въ рѣзкихъ выраженіяхъ нападали на бюрократію, стремившуюся превратить Церковь въ орудіе своей политики. К. Аксаковъ въ упомянутой уже выше „Запискѣ“ возстаетъ противъ того употребленія, которое дѣлали изъ православія неумѣренные представители официальной народности. На почвѣ внутренняго разлада между правительствомъ и народомъ,—говоритъ Аксаковъ,—„какъ дурная трава, выросла непомѣрная безсовѣстная лесь, увѣряющая во всеобщемъ благоденствіи, обращающая почтеніе къ

царю въ идолопоклонство, воздающая ему какъ идолу божескую честь. Одинъ писатель выразился въ „Вѣдомостяхъ“ подобными словами: „Дѣтская больница была освѣщена по обряду православной Церкви; въ другой разъ была освѣщена посѣщеніемъ Государя Императора“. Принято выраженіе, что „Государь *изво-милъ* приобщаться Святыхъ Таинъ“, тогда какъ христіанинъ иначе сказать не можетъ, что онъ *сподобился* или *удостоился*. Скажутъ, это нѣкоторые случаи; нѣтъ, таковъ у насъ всеобщій духъ отношенія къ правительству. Это только легкіе примѣры поклоненія земной власти“. Такимъ образомъ, главное различіе между славянофильствомъ и официальнымъ народничествомъ въ ихъ взглядахъ на православіе заключалось въ томъ, что первое отнюдь не имѣло въ виду дѣлать изъ православія орудіе политической власти и превращать его въ опору самодержавія, незыблемость котораго, коренилась, по ученію славянофиловъ, въ самыхъ глубокихъ тайникахъ народнаго духа. Другое важное различіе заключалось въ томъ, что славянофильство допускало свободу изслѣдованія и допускало широкое участіе паствы въ жизни Церкви. Церковь, по ученію славянофиловъ, не могла стать на мѣсто человеческой совѣсти, ея авторитетъ уживался рядомъ съ нравственной свободой личности. Хомяковъ вынужденъ былъ печатать свои теологическіе трактаты за границей на французскомъ языкѣ, — лучшее свидѣтельство того, какъ мало общаго было между православіемъ славянофиловъ и официальнымъ православіемъ патріотовъ въ родѣ Булгарина и Греча. Въ запискѣ К. Аксакова есть рѣзкія строки, говорящія о тѣхъ послѣдствіяхъ, къ которымъ приводило это стремленіе „патріотовъ“, поставить власть и политическую церковь на мѣсто внутренней совѣсти и внутренняго Бога отдѣльной личности: „Моя вѣра“, — сказалъ человѣкъ. „Государь есть глава Церкви“, — отвѣтятъ ему (вопреки

православному учению, по которому глава Церкви—Христосъ). „Твоя вѣра—государь“. „Мой Богъ“,—скажетъ, наконецъ человѣкъ. „Богъ твой—государь; онъ есть земной Богъ“. И государь является какой-то невѣдомой силой, ибо объ ней и говорить и разсуждать нельзя, и которая между тѣмъ вытѣсняетъ все нравственныя силы. Лишенный нравственныхъ силъ, человѣкъ становится бездушенъ и съ инстинктивною хитростью, гдѣ можетъ, грабитъ, воруетъ, плутуетъ“. Если мы припомнимъ, что эти слова писались въ запискѣ, представленной государю, то станетъ понятнымъ глубокая пропасть, отдѣляющая славянофиловъ отъ официальныхъ патріотовъ.

Въ пониманіи второго принципа—самодержавія славянофилы такъ же мало сходились по существу съ официальной народностью, какъ и въ своемъ отношеніи къ православію. Уже историческія воззрѣнія славянофиловъ, приведенныя выше, свидѣтельствуютъ о томъ, что они далеко не смѣшивали самодержавія съ произволомъ и деспотизмомъ. Они оставляли монарху государственную власть, а землѣ, народу—его быть, независимость его жизни и нравственную свободу. Мы видѣли, что они не задумались рѣзко выступить противъ монархической власти въ лицѣ Петра, когда, по ихъ убѣжденію, она вторглась въ независимую область жизни *земли*. И въ современномъ имъ государственномъ строѣ славянофилы рѣзко осуждали вмѣшательство государства въ жизнь народа. Та картина отношеній между самодержавнымъ царемъ и народомъ, которая рисовалась славянофиламъ, вытекала изъ ихъ мистической вѣры въ невозможность конфликтовъ между этими двумя элементами. Они были врагами конституціоннаго западнаго строя. Въ этомъ послѣднемъ имъ не нравился принципъ юридическаго обязательства, который дѣлаетъ народное представительство чѣмъ-то постояннымъ, навязаннымъ монарху, которое дѣ-

лаеть для него юридически обязательными постановленія этого представительства, которое, наконецъ, какъ бы даетъ гарантію народу противъ измѣны со стороны монарха. По ихъ мнѣнію, русскому народу несвойственны подобныя отношенія. Гарантія, по словамъ Аксакова, есть зло: гдѣ нужна она, тамъ нѣтъ добра. „Вся сила въ *идеаль*. Да и что значать условія и договоры, какъ скоро нѣтъ силы внутренней? Никакой договоръ не удержитъ людей, какъ скоро нѣтъ на это желанія. Вся сила въ нравственномъ убѣжденіи. Это сокровище есть въ Россіи, потому что она всегда въ него вѣрила и не прибѣгала къ договорамъ“.

Но, отрицая конституцію, славянофилы, тѣмъ не менѣе, и не думали превращать народъ въ безсловесную массу, въ бездушную машину, которую можно произвольно направлять въ любую сторону. Мнѣніе земли они считали великимъ элементомъ въ правильномъ развитіи государственной жизни. Имъ рисовалась не конституціонная, а другая система народнаго представительства, нѣчто въ родѣ старыхъ русскихъ земскихъ соборовъ. Эту систему отличали отъ конституціонной два существенныхъ признака. Во-первыхъ, такое представительство не постановляло никакихъ, а тѣмъ болѣе обязательныхъ для монарха рѣшеній, оно только доводило до его свѣдѣнія мнѣніе земли, имѣло совѣщательный голосъ, какъ сказали бы мы въ настоящее время. Во-вторыхъ, конституціонный строй предполагаетъ обязательное постоянное функционированіе народнаго представительства. Славянофилы полагали, что это представительство выступаетъ на сцену только тогда, когда монархическая власть чувствуетъ потребность ознакомиться съ мнѣніемъ земли. Благодаря вѣрѣ славянофиловъ въ существованіе внутренняго мистическаго сродства между царемъ и народомъ они не предполагали на этой почвѣ возмож-

ности конфликтовъ, вопросъ о которыхъ возникаетъ у насъ прежде всего, когда заходитъ рѣчь о такомъ строѣ. Нравственная сила мнѣнія земли такъ велика, что царь не можетъ поступить вопреки этому мнѣнію, а въ важныхъ вопросахъ, именно въ такихъ, которые касаются коренныхъ основъ народной жизни, царь не можетъ не почувствовать необходимости выслушать голосъ народа. Никакихъ припудительныхъ мѣръ и гарантій не требуется. Разъ естественная нравственная связь между царемъ и народомъ порвалась, гарантіи все равно ни къ чему не послужатъ. Такимъ образомъ, для славянофиловъ народное или *общественное мнѣніе* было великой силой, которое даетъ тонъ и направленіе государственной жизни. Правда, въ этомъ общественномъ мнѣніи нѣтъ политической силы. Оно—сила нравственная. Но въ немъ государство видитъ чего желаетъ страна, чѣмъ оно, государство, должно руководиться. „Охраненіе свободы общественнаго мнѣнія, какъ нравственной дѣятельности страны, есть, такимъ образомъ, одна изъ обязанностей государства... Мудрые цари наши это понимали: да будетъ имъ вѣчная за то благодарность! Они знали, что при искреннемъ и разумномъ желаніи счастья и блага странѣ нужно знать и въ извѣстномъ случаѣ вызвать ее мнѣніе. И потому цари наши часто созывали Земскіе Соборы, состоявшіе изъ выборныхъ всѣхъ сословій Россіи, гдѣ предлагали на обсужденіе тотъ или другой вопросъ, касающійся государства и земли“.

Обращаясь къ современности, славянофилы подвергли ее рѣзкой критикѣ. Аксаковъ указываетъ, что установившійся послѣ Петра бюрократическій режимъ поселилъ рабскія и вмѣстѣ съ тѣмъ и бунтовщическія чувства въ народѣ. „Рабъ видитъ только одну разницу между собою и правительствомъ: онъ угнетенъ, а правительство угнетаетъ; низкая подлость всякую минуту готова перейти въ наглую дерзость“.

Аксаковъ указываетъ въ своей „Запискѣ“ на то, что народъ не имѣетъ довѣрія къ правительству, а правительство — къ нему, народъ въ каждомъ дѣйствіи правительства готовъ видѣть новое угнетеніе, а правительство постоянно боится революціи и въ каждомъ самостоятельномъ выраженіи мнѣнія, въ каждой подписанной многими просьбѣ (что уважалось въ древней Руси) готово видѣть бунтъ. „Все зло,—заявляетъ К. Аксаковъ,—происходитъ отъ угнетательной системы нашего правительства,—угнетательной относительно свободы жизни, свободы мнѣнія, свободы нравственной, ибо на свободу политическую въ Россіи притязаній нѣтъ“. Одной изъ заслугъ славянофильства слѣдуетъ признать ихъ пламенные статьи въ защиту свободы слова и страстные филиппики противъ цензуры. Печать, какъ средство выраженія общественнаго мнѣнія, являлась въ ихъ глазахъ народной святыней. „Пусть государство возвратитъ землѣ ей принадлежащее: мысль и слово; и тогда земля возвратитъ правительству то, что ему принадлежатъ: свою довѣренность и силу. Человѣкъ созданъ отъ Бога существомъ разумнымъ и говорящимъ. Дѣятельность разумной мысли, духовная свобода есть призваніе человѣка. Свобода духа болѣе всего и достойнѣе всего выражается въ свободѣ слова. Поэтому свобода слова—вотъ неотъемлемое право человѣка. Въ настоящее время этотъ единственный органъ земли находится подъ тяжелымъ гнетомъ“.

Такимъ образомъ, славянофильское пониманіе самодержавія и православія глубоко расходилось съ толкованіемъ этихъ началъ въ органахъ официальной народности. У славянофиловъ это были тѣ начала, которыя коренились въ глубинѣ народнаго характера. Православіе являлось суммой религіозныхъ и нравственныхъ воззрѣній народа, самодержавіе—той правительственной формой, которую народъ добровольно учре-

диль, какъ форму, соотвѣтствующую его складу, чуждому власти и политическаго честолюбія. Такимъ образомъ третій принципъ, провозглашенный славянофильствомъ, принципъ народности, былъ, въ сущности, синтезомъ двухъ первыхъ. Благочестіе и смиреніе, отреченіе отъ политической власти, преданность правленію и монарху и общинному строю,—таковы коренныя основы русскаго народнаго характера. Славянофилы повсюду являлись апологетами этихъ свойствъ, въ художественныхъ произведеніяхъ они искали ихъ отраженія. Причины разочарованія Онѣгина они усматривали въ его оторванности отъ народа.

Подводя итоги славянофильству, нельзя не отмѣтить его крупныхъ заслугъ въ области разработки русской исторіи, въ дѣлѣ собиранія народныхъ пѣсенъ, наконецъ, въ изслѣдованіи отдѣльныхъ сторонъ русскаго быта. Достаточно указать историческіе труды Кирѣевскаго и К. Аксакова, изслѣдованіе Валуева о мѣстничествѣ, замѣчательное изслѣдованіе Ив. Аксакова объ украинскихъ ярмаркахъ. Своими критическими статьями славянофилы содѣйствовали развитію въ русской художественной литературѣ извѣстныхъ теченій. Ихъ вліяніе сказывается и въ спорахъ Лаврецькаго съ Паншинымъ въ „Дворянскомъ гнѣздѣ“ и въ изображеніи Любима Торцова у Островскаго. Оно отразилось на творчествѣ Достоевскаго и другихъ нашихъ великихъ писателей. Въ исторіи нашей общественности они тоже сыграли немалую роль. Какъ публицисты, они часто выступали искренними и компетентными поборниками передовыхъ идей, съ точки зрѣнія которыхъ они, какъ, напримѣръ, И. Аксаковъ, освѣщали текущіе вопросы внутренней и внѣшней политики. Но въ то же время въ нападкахъ на славянофильство было много справедливаго. Ихъ политическія теоріи были туманны. Они искали въ древней Руси коренныхъ основъ русскаго народнаго ха-

рактера, забывая, что многія черты тогдашняго строя были принадлежностью не спеціально русскаго народнаго уклада, а патріархальнаго періода въ исторіи всякаго народа. Картина идиллическаго согласія между царемъ и народомъ, которая представлялась славянофиламъ новымъ словомъ государственной мудрости, подареннымъ міру Русью, была, въ сущности, обычной картиной патріархальныхъ отношеній, непримѣнимой въ современныхъ сложныхъ государствахъ съ широко развѣтвленными формами политической жизни. А между тѣмъ славянофилы причинили немало зла своими идеями о смиреніи русскаго народа, объ его добровольномъ отреченіи отъ политической дѣятельности. Они давали часто сильное оружіе въ руки бюрократіи и кваснаго патріотизма. Они сами далеко не свободны отъ упрека въ проповѣди національной и религіозной нетерпимости. Наконецъ, они не всегда заботились о томъ, чтобы ограничить себя отъ паправленія официальной народности, съ представителями котораго они находились въ дружескихъ отношеніяхъ и въ органахъ котораго помѣщали свои статьи. Поэтому неудивительно, что ихъ нерѣдко смѣшивали съ публицистами, имена которыхъ стали символомъ обскурантизма и реакціи. Не слѣдуетъ также забывать, что славянофильское ученіе въ томъ видѣ, какъ оно представлено выше, развернулось во всей своей полнотѣ гораздо позднѣе 40-хъ годовъ. Въ эти годы его вожди еще не создали глубокаго обоснованія его. Славянофилы не нашли еще настоящей аргументаціи. Ихъ теоріи носили неопредѣленный характеръ, и неудивительно, что Бѣлинскій издѣвался въ это время надъ ними, требуя, чтобы они ясно формулировали свою систему.

Третье общественно-литературное направленіе извѣстно подъ именемъ западничества. Въ сущности подъ этимъ словомъ объединились почти всѣ великія

имена тогдашней философской, критической и художественной литературы. Хотя писатели, не раздѣлявшіе православно-націоналистическихъ воззрѣній славянофильства, чтившіе европейское просвѣщеніе, и принимали кличку западниковъ, но само собою разумѣется, что этотъ условный терминъ далеко не охватывалъ великаго потока идей, брошенныхъ западниками русскому обществу, не охватывалъ всѣхъ созданій художественнаго творчества, которыя причислялись къ этому направленію. Мы уже видѣли, какія отношенія между славянофилами и западниками существовали въ Москвѣ. Въ Петербургѣ Бѣлинскій послѣ своего переѣзда туда сталъ главнымъ центромъ западническаго кружка, глашатаемъ его идеаловъ. Въ своихъ статьяхъ отражалъ онъ споры и идеи, волновавшіе кружокъ. Благодаря своему критическому чутью онъ угадывалъ новые таланты и такимъ образомъ постоянно пополнялъ кадры кружка новыми могучими силами. Наконецъ, благодаря его энергіи, его неустанному труду создавались и держались западническіе органы подъ тяжелыми ударами тогдашней цензуры. Бѣлинскій былъ душою журналовъ, на которыхъ воспиталось цѣлое поколѣніе, жадно набрасывавшееся на каждую статью великаго критика.

Западный кружокъ въ Петербургѣ составилъ изъ ядра станкевичевского кружка. Послѣ того какъ Бѣлинскій примирился съ друзьями Герцена, въ новый кружокъ вошли лучшіе представители обоихъ прежнихъ кружковъ. Къ нему присоединялись свѣжія силы, сошлись тѣ люди, которые получили названіе „людей 40-хъ годовъ“. Можно сказать, что въ этомъ новомъ кругѣ преобладало то теченіе, котораго представителями во времена студенчества были Герценъ и Огаревъ. Французскія идеи были теперь главнымъ предметомъ вниманія, и, поскольку рѣчь идетъ о западномъ вліяніи въ кружкѣ, его можно было бы назвать

скорѣе французскимъ, чѣмъ вообще западнымъ., Изъ Франціи,—писаль въ послѣдствіи Салтыковъ,—разумѣется, не изъ Франціи Луи-Филиппа и Гизо, а изъ Франціи Сень-Симона, Кабе, Фурье, Луи-Блана и въ особенности Жоржъ-Сандъ лилась въ насъ вѣра въ чело-вѣчество; отсюда возсіяла намъ увѣренность, что золотой вѣкъ не позади, а впереди насъ“. Главнымъ органомъ кружка стонуются „Отечественныя Записки“, душой которыхъ былъ Бѣлинскій и мнѣнія которыхъ съ 1841 года постепенно завоевываютъ себѣ господствующее положеніе. Этотъ журналъ дѣлается руко-водителемъ передового общества, устанавливая эсте-тическія понятія и опредѣляя значеніе вновь появляю-щихся писателей. Онъ разрушаетъ авторитетъ патріо-тической журналистики, развиваетъ въ обществѣ ху-дожественные вкусы, отвлекая его отъ лже-патріоти-ческихъ драмъ и романовъ и обращая его вниманіе на Гоголя, Кольцова и вновь нарождающіеся таланты, на будущихъ корифеевъ русской художественной лите-ратуры. Среди лицъ, примыкавшихъ къ кружку, мы встрѣчаемъ уже знакомыя намъ имена Герцена, Гра-новскаго, Боткина. А вмѣстѣ съ ними тѣсно связана блестящая плеяда романистовъ и поэтовъ, обогатив-шихъ вскорѣ русскую литературу великими твореніа-ми. Быть-можетъ, величайшая доля значенія этого за-паднаго кружка заключается именно въ томъ, что въ его атмосферѣ развивались Тургеневъ, Некрасовъ, Григоровичъ, позднѣе—Гончаровъ, Достоевскій и проч., что здѣсь встрѣчали сочувствіе и нравственную под-держку представители свободнаго научнаго изслѣдо-ванія въ области исторической и экономической жизни, какъ Соловьевъ, Кавелинъ, Аванасьевъ и т. д. Само собою разумѣется, что Бѣлинскому принадлежала глав-ная роль въ этомъ вліяніи. Въ 1843 году Бѣлинскій въ первый разъ встрѣтился съ Тургеневымъ и сразу оцѣнилъ будущаго романиста. „Бесѣда и споры съ

нимъ,—пишетъ Бѣлинскій,—отводили мнѣ душу... От-
радно встрѣтить человѣка, самобытное и характерное
мнѣніе котораго, сшибаясь съ твоимъ, извлекаетъ
искры". По словамъ Тургенева, когда Бѣлинскій бы-
валъ въ ударѣ, „не было возможности представить
себѣ человѣка болѣе краснорѣчиваго, въ лучшемъ, въ
русскомъ смыслѣ этого слова... Это было неудержи-
мое изліяніе нетерпѣливаго и порывистаго, но свѣт-
лаго и здороваго ума, согрѣтаго всею жаромъ чи-
стаго и страстнаго сердца и руководимаго тѣмъ тон-
кимъ и вѣрнымъ чутьемъ правды и красоты, котораго
почти ничѣмъ не замѣнишь". Когда Тургеневъ напи-
салъ „Парашу“, въ которой, по словамъ Тургенева,
было нѣсколько „едва замѣтныхъ крупницъ чего-то по-
хожаго на дарованіе“, Бѣлинскій, „всегда готовый про-
тянуть руку начинающему и привѣтствовать все, что
хоть немного обѣщало быть полезнымъ приращеніемъ
тому, что Бѣлинскій любилъ самой страстной лю-
бовью—русской литературѣ“, напечаталъ о „Парашѣ“
статью въ „Отеч. Записк.“ Однихъ этихъ словъ Тур-
генева достаточно, чтобы понять, какое огромное влія-
ніе оказывалъ Бѣлинскій на развитіе русской лите-
ратуры. Почти всѣ великіе таланты послѣдующей
эпохи начинали свою литературную карьеру съ благо-
словенія Бѣлинскаго. Когда Бѣлинскій получилъ пер-
вую повѣсть Достоевскаго, онъ, ничего не ожидая, хо-
тѣлъ пробѣжать рукопись передъ сномъ. Но первыя
же страницы захватили его. Онъ не спалъ всю ночь.
„Утромъ,—разсказываетъ Панаевъ,—Некрасовъ засталъ
Бѣлинскаго уже въ восторженномъ лихорадочномъ со-
стояніи... „Давайте мнѣ Достоевскаго!“—были первыя
слова его. Потомъ онъ, задыхаясь, передалъ ему свои
впечатлѣнія, говорилъ, что „Бѣдные люди“ обнару-
живаютъ громаднѣйшій, великій талантъ, что авторъ ихъ
пойдетъ далѣе Гоголя и пр. Когда къ нему привезли
Достоевскаго, онъ встрѣтилъ его съ нѣжною, почти

отцовскою любовью и тотчасъ высказался передъ нимъ *всё*, передавъ ему вполне свой энтузіазмъ“. Когда Гончаровъ читалъ ему свой первый трудъ, „Обыкновенную исторію“, Бѣлинскій повременамъ привскакивалъ на стулъ съ сверкающими глазами. Онъ же угадалъ важное общественное значеніе „Аптона Горемыки“ Григоровича, хотя и чувствовалъ недостатки этой повѣсти въ художественномъ отношеніи. „Ни одна русская повѣсть не производила на меня такого страшнаго, гнетущаго, мучительнаго, удушающаго впечатлѣнія: читая ее, мнѣ казалось, что [я въ конюшнѣ, гдѣ благонамѣренный помѣщикъ поретъ и истязаетъ цѣлую вотчину—законное наслѣдіе его благородныхъ предковъ“.

Этихъ примѣровъ достаточно, чтобы понять великое вліяніе Бѣлинскаго на ходъ русской литературы. Этихъ именъ достаточно, чтобы понять, какъ узко было слово „западничество“ въ примѣненіи къ тѣмъ твореніямъ, которыя оно породило, какъ неполно обнимало оно то, что связано съ нимъ. Тургеневъ и Достоевскій, Гончаровъ и Григоровичъ,—все это друзья кружка, а между тѣмъ это вовсе не были западники въ томъ смыслѣ, какъ понимало это слово славянофильство, т.-е. далеко не были только глашатаями западныхъ идей. Вообще въ спорѣ между западничествомъ и славянофильствомъ было много страстности, мѣшавшей разглядѣть общія точки соприкосновенія между обѣими школами. Славянофилы отнюдь не отказывались отъ западнаго просвѣщенія и западныхъ идей,—самый источникъ славянофильской философіи, какъ мы видѣли, скрывался въ ученіи Шеллинга. Съ другой стороны, западники вовсе не требовали механическаго насажденія у насъ европейской образованности. Въ ихъ отношеніи къ народу часто было, можетъ-быть, больше истиннаго пониманія его склада и психологіи, чѣмъ у славянофиловъ. Достаточно на-

звать „Записки охотника“. Если у славянофиловъ было нѣкоторое основаніе упрекать своихъ противниковъ въ слѣпомъ поклоненіи Западу, то это относилось только къ крайнимъ представителямъ западничества.

VI.

Петербургскій періодъ.

Міросозерцаніе Бѣлинскаго въ 40-годахъ.—Переходъ къ реальной, научно-позитивной точкѣ зрѣнія.—Приложенія этой точки зрѣнія къ исторіи, къ ученію о національности и народѣ и къ общественнымъ вопросамъ.—Эстетическія воззрѣнія.—Главныя идеи натурализма: вѣрное изображеніе дѣйствительности, анализъ ея, общественная роль искусства, отношеніе поэта къ изображаемому, чистое и тенденціозное искусство, защита угнетенныхъ. — Бѣлинскій и офиціальное народничество. — Бѣлинскій и славянофилы. — Бѣлинскій и передовая литература. — Бѣлинскій въ исторіи русской мысли.

Охарактеризовавъ общественно-литературныя направленія, возникшія въ 40-хъ годахъ, мы можемъ вернуться къ Бѣлинскому и выяснить его главныя идеи въ этотъ періодъ, когда онъ разстался съ нѣмецкой метафизической философіей, обратился къ русской дѣйствительности и попытался подойти къ ней не съ точки зрѣнія предвзятыхъ теорій, не съ философскими предубѣжденіями, а съ точки зрѣнія фактовъ и реальныхъ отношеній. Выяснить его огромныя заслуги передъ русской литературой за эти нѣсколько лѣтъ во всѣхъ деталяхъ было бы, конечно, невыполнимой задачей въ предѣлахъ нашего краткаго обзора. Бѣлинскій былъ въ полномъ смыслѣ слова вождемъ русской мысли, общественной и эстетической. Его статьи, написанныя въ 40 годахъ, это—цѣлая энциклопедія. Они

касались всего: и исторіи, и морали, и общественныхъ движеній, и географическихъ книгъ, и эстетическихъ, и классовыхъ вопросовъ. Бѣлинскій производилъ колоссальную работу очистки авгіевыхъ конюшенъ, которыя представляла собою русская умственная и общественная жизнь николаевской эпохи. Въ этой работѣ было много спѣшнаго и случайнаго. Не слѣдуетъ забывать также, что надъ ней висѣлъ мечъ тогдашней цензуры. И въ то же время Бѣлинскій при всѣхъ неблагопріятныхъ условіяхъ сумѣлъ отразить тотъ поворотъ, который начинался въ міросозерцаніи передовой части русскаго общества. Мы остановимся только на главныхъ идеяхъ Бѣлинскаго.

Прежде всего круто измѣнилась общая философская точка зрѣнія. Отъ метафизическаго міросозерцанія онъ склоненъ перейти (а иногда и переходить вполне) къ научно-позитивному, отъ спекулятивнаго метода къ эмпирическому, отъ вѣры въ существованіе прирожденныхъ идей къ объективному изслѣдованію міра явленій. Онъ начинаетъ сознавать, что абсолютныя истины не существуютъ. Правда, онъ дѣлаетъ оговорки, старается примирить старое съ новымъ. Но къ концу его дѣятельности все яснѣе устанавливается тотъ взглядъ, что опредѣленіе справедливости, истины, добра и красоты слѣдуетъ выводить [для каждаго даннаго момента и среды] изъ реальныхъ отношеній этой среды. Онъ эмпирикъ-изслѣдователь, не вѣрующій больше въ гегелевскую Абсолютную идею, съ высоты которой слѣдуетъ оцѣнивать развертывающіяся передъ нами и жизнь, и исторію, и природу. Напротивъ, явленія, факты въ его глазахъ все болѣе пріобрѣтаютъ значеніе непреложной основы, а понятія, идеи — значеніе обобщеній и выводовъ, мѣняющихся въ зависимости отъ измѣненія самихъ явленій. Бѣлинскій, писавшій въ статьѣ о нравственной философіи Дроздова: „Умозрѣніе всегда основывается на

левской философіи... Въ современной Бѣлинскому Франціи и Англіи Гегеля совсѣмъ не знали, и это не мѣшало имъ развить первостепенную культуру. Обошлась бы, слѣдовательно, и Россія безъ „правильно“ понятаго гегеліанства. Весь интересъ „правильно“ или „неправильно“ понятаго русскаго гегеліанства только въ томъ и заключается, поскольку онъ является *русскимъ* умственнымъ теченіемъ“.

Примиреніе съ русской дѣйствительностью, съ ужасами николаевскаго режима, началось для Бѣлинскаго еще до того момента, когда Гегель всецѣло овладѣлъ станкевичевскимъ кружкомъ. Уже въ письмѣ отъ 7-го августа 1837 г., которое, какъ мы видѣли, было яркимъ отраженіемъ „фихтіанства“ Бѣлинскаго, заключается остовъ мыслей, развитыхъ впослѣдствіи въ „Бородинской годовщинѣ“,—мыслей, которыя лежатъ темнымъ пятномъ на памяти великаго критика, являются девизомъ нѣсколькихъ печальныхъ лѣтъ его литературной дѣятельности, той эпохи, когда Бѣлинскій доходилъ до апологіи деспотизма, проповѣди рабства и дикой вражды къ прогрессу. Въ этомъ письмѣ онъ глашатай идеаловъ официальной народности. „Франція есть страна опыта, примѣненія идей къ жизни. Совсѣмъ другое назначеніе Россіи“. Въ этомъ письмѣ онъ — апологетъ рабства и кнута для Россіи. „Мы еще не имѣемъ правъ, мы еще рабы, если угодно, но это оттого, что мы еще должны быть рабами. Россія еще дитя, для котораго нужна нянька, въ груди которой билось бы сердце, полное любви къ своему питомцу, а въ рукѣ которой была бы лоза, готовая наказывать за шалости. Дать дитяти полную свободу—значить погубить его. Дать Россіи въ теперешнемъ ея состояніи свободу—значить погубить Россію“. Въ этомъ письмѣ Бѣлинскій—скептикъ, не вѣрящій въ русскій народъ, въ его здравый смыслъ и добрые инстинкты. Глубокое презрѣніе къ народу звучитъ въ слѣдую-

щихъ словахъ, въ которыхъ авторъ письма выражаетъ бюрократическую вѣру въ спасительную силу опеки. „Въ понятіи нашего народа *свобода* есть воля, а воля—озорничество. Не въ парламентъ пошелъ бы освобожденный русскій народъ, а въ кабакъ побѣждалъ бы онъ пить вино, бить стекла, вѣшать дворянъ, которые бреютъ бороду и ходятъ въ сюртукахъ, а не въ зипунахъ“. Всю надежду Бѣлинскій возлагаетъ на просвѣщеніе, а не на перевороты и конституціи. Николаевское правительство представляется ему идеаломъ правительства. Оно запрещаетъ писать противъ крѣпостного права, а само „исподволь освобождаетъ крестьянъ“. Все идетъ въ Россіи къ лучшему. Тирановъ-помѣщиковъ становится все меньше. Когда-то паденіе при дворѣ сопровождалось ссылкой въ Сибирь, а теперь — „много-много ссылкой въ свою деревню“. Когда-то осуждали на четвертованіе фельдмаршаловъ, а теперь „и насъ съ тобою, людей совершенно ничтожныхъ въ гражданскомъ отношеніи“, не будутъ четвертовать даже, если бы „мы были достойны этого“. Самодержавная власть даетъ свободу думать и мыслить. Она не позволяетъ вмѣшиваться въ ея дѣла, громко говорить, переводить книги, но она пропускаетъ послѣднія изъ-за границы. „*Все это хорошо и законно*, потому что то, что можешь знать ты, не долженъ знать мужикъ“. Правительство не позволяетъ выписывать политическихъ книгъ, но онѣ „послужили бы только ко вреду, кружа головы неосновательныхъ людей“. Зато оно допускаетъ изъ-за границы „все, что произведетъ германская мыслительность, самая свободная“. Итакъ, къ чорту политику, да здравствуетъ наука. Къ чорту французовъ. Германія—вотъ Іерусалимъ новѣйшаго человѣчества“.

Достаточно прочесть эти строки, чтобы убѣдиться, что не Гегель былъ причиной этого позорнаго политическаго индифферентизма, этой наивной идеализаціи

николаевского режима. Этого режима одного было достаточно, чтобы временно затмить общественное сознание даже такого писателя, как Бѣлинскій. И когда явился на сцену Гегель, его удобная форма послужила только рамкой, въ которую легко можно было вставить свой политическій индифферентизмъ. „Новый міръ намъ открылся, — пишетъ въ 1839 году Бѣлинскій, Станкевичу, вспоминая 1837 годъ. — Сила есть право, и право есть сила, — нѣтъ, не могу описать тебѣ, съ какимъ чувствомъ услышалъ я эти слова — это было освобожденіе. Я понялъ идею паденія царствъ, законность завоевателей; я понялъ, что нѣтъ дикой матеріальной силы, нѣтъ владычества штыка и меча, нѣтъ произвола, нѣтъ случайности и кончилась моя опека надъ родомъ человѣческимъ, и значеніе моего отечества предстало мнѣ въ новомъ видѣ... Слово „дѣйствительность“ сдѣлалось для меня равносильно слову „Богъ“... Тотъ блаженнѣе, кто и кухню умѣетъ просвѣтлить мыслию безконечнаго“. Философія Гегеля сразу придала смыслъ необходимости всему отрицательному: „штыку и мечу“ и даже „кухнѣ“. Она облекала въ систему, дѣлала элементомъ безконечнаго то, что жило въ душѣ Бѣлинскаго въ это время. Примирненіе съ дѣйствительностью стало частью, элементомъ въ культѣ Абсолютнаго Разума. „Теперь, — пишетъ Бѣлинскій къ Бакунину 14-го августа 1838 г., — когда я нахожусь въ созерцаніи безконечнаго, теперь я глубоко понимаю, что всякій правъ и никто не виноватъ: что нѣтъ ложныхъ ошибочныхъ мнѣній, а есть моменты духа“. Бѣлинскій даже не враждебенъ пошлымъ людямъ. „Имъ не дано жить въ духѣ... ихъ не должно ни ненавидѣть, ни презирать“. *Дѣйствительность* стала идоломъ Бѣлинскаго. Онъ твердитъ это слово, „вставая и ложась спать“. Оно пріучило его любить тѣхъ, кого онъ раньше ненавидѣлъ. Полный міръ снизошелъ въ его душу. „Дикость его природы“ стала ис-

чезать. Въ это время онъ былъ ожесточенъ противъ Шиллера, котораго юношескія трагедіи „наложили на него дикую вражду съ общественнымъ порядкомъ“.

Статья „Литературныя мечтанія“ была выраженіемъ шеллингіанскихъ симпатій Бѣлинскаго. Статья о системѣ нравственной филофіи Дроздова была написана подъ вліяніемъ философіи Фихте. Періодъ „примиренія“ и консерватизма, отмѣченный вліяніемъ Гегеля, вылился въ статьѣ „Бородинская годовщина“. Но прежде чѣмъ говорить объ этомъ пламенномъ и уродливомъ созданіи, завершающемъ періодъ философскихъ исканій, напомнимъ о другомъ кружкѣ, гдѣ шла совершенно иная работа. Правительство, которое, по словамъ Бѣлинскаго, пропускало въ Россію все, что „производила германская мыслительность“, и строго оберегало Россію отъ соціальныхъ и политическихъ идей, идущихъ изъ Франціи, могло терпѣть друзей Станкевича съ ихъ философскими спорами, но не потерпѣло Герцена. И вотъ въ то время, когда Бѣлинскій мучительно гнался за абсолютомъ, Герценъ страдалъ въ ссылкѣ. Одинъ жилъ въ сферѣ абстрактныхъ умствованій, другой окунулся въ самую гущу жизни. Одинъ преклонялся передъ дѣйствительностью, другой переносилъ ея жестокіе удары. Когда Герценъ вернулся изъ ссылки, Бѣлинскій столкнулся впервые съ противникомъ, равнымъ ему по силѣ. Оба кружка стояли лицомъ другъ къ другу. Одинъ презиралъ либеральныя увлеченія другого съ высоты своихъ абстрактныхъ исканій. Второй платилъ первому тѣмъ же презрѣніемъ за его заимствованный у Гегеля политическій квіетизмъ. Столкновеніе было неизбежно. Говорятъ, друзья Герцена поставили вопросъ рѣзко и прямо и потребовали у Бѣлинскаго отвѣта, какъ примирить его „разумную дѣйствительность“ съ безпроевѣтнымъ настоящимъ русскаго общества. Бѣлинскій принадлежалъ къ числу тѣхъ натуръ, которыя не

останавливаются на полпути. Онъ не боялся доводить свою мысль до ея логическаго конца. Онъ самымъ рѣшительнымъ образомъ подтвердилъ всѣ послѣдствія своего взгляда.

Совершилось невѣроятное. Благороднѣйшій изъ русскихъ публицистовъ объявилъ себя единомышленникомъ режима гнета и насилія, мрачнѣе котораго не знало русское общество. Послѣ такого отвѣта все было кончено. Бѣлинскій и Герценъ стали врагами. Два писателя, имена которыхъ ставятся рядомъ во главѣ новаго пути, по которому пошла русская литература, были убѣждены, что дороги ихъ разошлись навсегда. Такъ, можетъ-быть, и случилось бы, если бы на мѣстѣ Бѣлинскаго былъ менѣе горячій искатель истины. Въ дѣйствительности столкновеніе оставило глубокій слѣдъ въ обоихъ противникахъ. Герценъ погрузился въ изученіе Гегеля, Бѣлинскій уѣхалъ въ Петербургъ, гдѣ сильно задумался. Вскорѣ мысль его приняла иное направленіе. „Вородинская годовщина“ была отвѣтомъ противникамъ по недоразумѣнію. Это было самое яркое выраженіе гегеліанскаго консерватизма. Прежде чѣмъ вступить на истинный путь, нужно было довести до абсурда свои заблужденія. Такова была натура Бѣлинскаго. По словамъ Панаева, Бѣлинскій былъ въ лихорадочномъ состояніи, когда читалъ ему эту статью. Когда Панаевъ пытался сдѣлать возраженіе, Бѣлинскій перебилъ его: „Я знаю, что,—не договариваете,—меня назовутъ льстецомъ, подлецомъ, скажутъ, что я кувыркаюсь передъ властями... Пусть ихъ. Я не боюсь открыто и прямо высказывать мои убѣжденія, чтобъ обо мнѣ не думали... Клянусь вамъ, что меня нельзя подкупить ничѣмъ!.. Мнѣ легче умереть съ голода—я и безъ того рискую этакъ умереть каждый день (и онъ улыбнулся при этомъ съ горькой ироніей), чѣмъ потоптать свое человѣческое достоинство, унижить себя передъ кѣмъ бы то ни было или

продать себя"... Въ сущности, 30-е годы завершаются въ дѣятельности Бѣлинскаго не одной, а тремя статьями: во-первыхъ, по поводу „Бородинской годовщины“ Жуковскаго, во-вторыхъ, по поводу „Очерковъ бородинскаго сраженія“ Глинки и, наконецъ, статью „О Менцелѣ“. Вторая именно имѣется въ виду въ воспоминаніяхъ Панаева, приведенныхъ выше. Она получила наибольшую извѣстность. Но и другія двѣ не менѣе интересны для характеристики „примиренія“ Бѣлинскаго, особенно статья о Менцелѣ, которую Венгеровъ называетъ истинными „Геркулесовыми столбами“ гегеліанскаго періода. При этомъ Бѣлинскій нападаетъ здѣсь на Менцеля перваго періода, т.-е. либеральнаго нѣмецкаго писателя, а не на того, конечно, Менцеля, который въ послѣдствіи былъ заклеенъ именемъ доносчика. Статьи о Бородинской годовщинѣ являются выраженіемъ патріотическаго энтузіазма Бѣлинскаго, родственнаго официальному патріотизму, провозглашенному Уваровымъ. Статья о Менцелѣ — гимнъ во славу чистаго самодовлѣющаго искусства, чуждаго общественнымъ идеямъ и нравственной проповѣди.

Бородинская битва для Бѣлинскаго имѣетъ двойное значеніе. Она—одно изъ великихъ историческихъ событій, въ которыхъ раскрываются „безбрежныя равнины царства безконечнаго“. Во-вторыхъ, она—фактъ отечественной исторіи, поэтому „его субстанціальная родственность съ духомъ созерцающаго просвѣтитъ до прозрачности его таинственную сущность“. Иначе говоря, если въ каждомъ событіи можно разглядѣть уголокъ абсолютнаго, то для русскаго въ такомъ великомъ русскомъ событіи „таинственная сущность“ становится ясной до прозрачности. Вотъ почему „Бородинская годовщина“ Жуковскаго и книга Глинки даютъ Бѣлинскому поводъ къ патріотическимъ изліаніямъ мистическаго характера. Эти статьи — свое-

образное сочетаніе гегеліанства и офіціального патріотизма. Ихъ главныя мысли слѣдующія. Государство не есть учрежденіе человѣческое. Народъ не есть отвлеченное понятіе. И первое и второй суть элементы, имѣющіе высшее божественное происхожденіе. Все, что ни есть, — есть или являющійся разумъ (разумъ въ явленіи) или сознающій разумъ (разумъ въ сознаніи). Дѣло сознающаго разума — сознать дѣйствительность, а не творить ее, и потому разумъ пишетъ грамматику, но не сочиняетъ языка, пишетъ трактатъ объ организаціи общества, но не создаетъ общества. Какъ невозможно сочинить языка, такъ невозможно и устроить гражданское общество, которое устроится само собою безъ сознанія и вѣдома людей, изъ которыхъ оно слагается. Хотя Бѣлинскій говорить далѣе объ органическомъ развитіи государства, о значеніи географическихъ и климатическихъ условій какъ исходнаго пункта жизни каждаго народа, но въ сущности для него органически и естественно сложившееся государство есть элементъ въ процессѣ раскрытія абсолютной идеи. Всякая разумность, чтобы сдѣлаться разумностью, должна явиться сперва какъ естественность, какъ непосредственное откровеніе. „Всякая разумность священна, т.-е. имѣетъ свою мистическую таинственную сторону, и причина этой таинственности скрывается опять въ близости къ источнику всего сущаго, къ божественной идеѣ, первоначально осуществляющейся во всеобщей родовой матеріи, въ сущномъ (субстанціальномъ) началѣ“. Поэтому и государство есть „непосредственное откровеніе“. Космополитъ есть ложное, двусмысленное, непонятное явленіе, а не живая дѣйствительность. Царская власть не есть послѣдствіе избранія или договора, какъ сказалъ бы „какой-нибудь либеральный аббатикъ-французъ“. Какъ и всякое „государственное коренное постановленіе“, она не законъ „изреченный

отъ человѣка“, а „является *довременно*“ и только выговаривается и сознается человѣкомъ. Изъ опыта нельзя вывести, какимъ образомъ изъ отеческой власти явилась царская, *отецъ* сталъ *царемъ*; но „въ умозрѣніи это очень понятно“. Царь есть наместникъ Божій, а „царская власть, замыкающая въ себѣ всѣ частныя воли, есть преобразование единодержавія вѣчнаго и довременнаго разума“. Имя монарха для подданныхъ есть слово мистическое, таинственное, священное.

Словомъ, основная государственная идея Бѣлинскаго сводится къ представленію о государствѣ и о монархѣ какъ о самодовлѣющей цѣли, притомъ цѣли, входящей въ общую систему цѣлей мірового разума. Общество „не имѣетъ причины въ нуждѣ и пользѣ людей, но есть само себѣ цѣль“. Иначе говоря, государство и монархъ не должны въ своихъ дѣйствіяхъ руководиться интересами гражданъ. Страданія и нужды этихъ послѣднихъ не должны приниматься въ расчетъ, такъ какъ они всѣ въ совокупности служатъ цѣлямъ абсолютной идеи.

Личность совершенно исчезаетъ у Бѣлинскаго за обществомъ. Человѣкъ долженъ отрѣшиться отъ своей субъективной личности, признавъ ее призракомъ и ложью, долженъ смириться передъ общимъ, признавъ только его дѣйствительностью. Петръ Великій, замучившій при помощи пытокъ своего сына Алексѣя, совершилъ „великій подвигъ великаго человѣка!“ потому что здѣсь „міръ объективный побѣдилъ міръ субъективный, общее побѣдило частное“; потому что здѣсь нравственный законъ восторжествовалъ надъ естественнымъ влеченіемъ отцовскаго сердца, и Петръ явился здѣсь полубогомъ, „осуществившимъ своею личностью все могущество человѣчества“.

Таковы основныя мысли знаменитой статьи, которую въ послѣдствіи съ краской стыда вспоминалъ Бѣ-

линскій, доведшій въ ней до Геркулесовыхъ столбовъ культъ дѣйствительности, оправдавшій здѣсь и пытки, и убійство, и муки страдающаго народа, какъ необходимыя проявленія Абсолютнаго Разума.

Примирительный взглядъ, положенный въ статьяхъ о Бородинской годовщинѣ въ основу государственныхъ воззрѣній, былъ въ статьѣ о Менцелѣ примѣненъ Бѣлинскимъ къ эстетикѣ и литературной критикѣ. Онъ врагъ поэзіи, въ которой слышатся слезы угнетеннаго человѣчества и протестъ противъ рѣжущихъ слухъ диссонансовъ жизни. Онъ называетъ жалкими безумцами тѣхъ, кто не въ состояніи уловить во всѣхъ безъ исключенія явленіяхъ лишь слѣды мировой гармоніи. „Добровольные мученики,—имъ нѣтъ покоя, для нихъ нѣтъ радости, нѣтъ счастья: тамъ гаснетъ свѣтъ просвѣщенія, тутъ гибнутъ добродѣтель и нравственность, здѣсь подавляется цѣлый народъ;—и съ воплемъ указываютъ они на виновниковъ такого ужаснаго зла, какъ-будто бы люди или чловѣкъ въ состояніи остановить ходъ міра, измѣнить участь народа; какъ-будто бы нѣтъ Провидѣнія, и судьбы земнородныхъ предоставлены слѣпому случаю или слѣпой волѣ одного чловѣка. Сумасброды! Внимательнѣе заглядывайте въ священную книгу судебъ чловѣческихъ, въ вѣчную „книгу царствъ“—въ „исторію“... И тогда передъ такими внимательными историками раскроется великая истина, что все благо и всегда правъ судьбы законъ, какъ думалъ Ленскій. Погибла Греція, варвары уничтожили ея статуи, время сокрушило храмы, но остались обломки статуй, сохранилась „Иліада“, и „исчезнувшая жизнь свѣтлыхъ чадъ Эллады“ воскресла для насъ въ этихъ остаткахъ. Омаръ сжегъ Александрійскую бібліотеку, но „погодите проклинять Омара!“ Просвѣщеніе бессмертно. Омаръ сжегъ Александрійскую бібліотеку, „но не сжегъ Гомера и Платона, Эсхила и Демосѣена, которыхъ мы знаемъ“.

и т. д. Въ мірѣ нѣтъ ненужныхъ и вредныхъ явленій, все направляется не человѣкомъ, а Высшимъ Разумомъ къ высшей цѣли. Съ этой точки зрѣнія критикъ долженъ смотрѣть на поэзію и поэта. Отъ него нельзя требовать, чтобъ онъ служилъ обществу. Поэтъ, „какъ органъ общаго и мірового, какъ непосредственное проявленіе духа, не можетъ ошибаться и говорить ложь“. Поэтому Менцель, основная идея котораго заключается именно въ томъ, что искусство должно служить обществу, подвергается жестокимъ нападкамъ со стороны Бѣлинскаго. Онъ возстаетъ противъ французской литературы. Поэзія Расина и Мольера, это—„пошлыя сентенціи въ гладкихъ стихахъ“. Сочиненія Вольтера—„наглое кощунство надъ всѣмъ святымъ и завѣтнымъ для человѣчества“. Гюго и Эженъ Сю „обоготовили неистовство животныхъ страстей“ и выдали „мясничество за трагедію и романъ“. Романы Жоржъ-Сандъ—нелѣпныя и возмутительныя творенія, имѣющія цѣлью приложить на практикѣ идеи сенъ-симонизма. „Какія же это идеи? О безподобныя! Именно, индустріальное направленіе должно взять верхъ надъ идеальнымъ и духовнымъ: должно распространиться равенство не въ смыслѣ христіанскаго братства, которое и безъ того существуетъ въ мірѣ со времени первыхъ двѣнадцати учениковъ Спасителя, а въ смыслѣ какого-то масонскаго-или квакерскаго сектантства; должно уничтожить всякое различіе между полами, разрѣшивъ женщину на вся тяжкія и допустивъ ее вмѣстѣ съ мужчиною къ отправленію гражданскихъ должностей, а главное, предоставивъ ей завидное право мѣнять мужей по состоянію своего здоровья“... Необходимый результатъ этихъ глубокихъ и превосходныхъ идей есть уничтоженіе священныхъ узъ брака, родства, семейственности,—словомъ, совершенное превращеніе государства сперва въ животную и безчинную оргію, а потомъ—въ призракъ, построенный изъ словъ на воз-

духъ“. Такъ отнесся Бѣлинскій къ учению того мыслителя, который былъ провозвѣстникомъ социализма, почти основателемъ научной социологіи. Станнымъ образомъ, „равенство въ смыслѣ христіанскаго братства“ привело Бѣлинскаго къ оправданію деспотизма и страданій народной массы, а „массонское и квакерское сектантство“ сенъ-симонистовъ положило начало великому движенію новѣйшаго времени: организованной борьбѣ за интересы трудящихся массъ.

Возставая противъ тенденціозной литературы, Бѣлинскій опредѣляетъ задачи „истинной поэзіи“: ея содержаніе не вопросы дня, а вопросы вѣковъ, не интересы страны, а интересы міра, не участь партій, а судьбы человѣчества“. Художникъ „въ дивныхъ образахъ осуществляетъ божественную идею для ней самой, а не для какой-либо внѣшней и чуждой ей цѣли“. Поэтъ „всего менѣе способенъ отзываться на современность, которая для него есть начало безъ середины и конца, явленіе безъ полноты и цѣлости, закрытое туманомъ страстей, предубѣжденій и пристрастій партій, и потому его вдохновеніе больше любитъ жить въ вѣкахъ минувшихъ и пробуждать исполинскія тѣни Ахилловъ и Гекторовъ, Ричардовъ и Генриховъ, или изъ нѣдръ собственнаго духа воспроизводить свои гигантскіе образы, каковы—Гамлетъ, Макбетъ, Отелло“... Дѣло Питтовъ и Метерниховъ—участвовать въ судьбѣ народовъ. Дѣло художниковъ—созерцать „полное славы твореніе“ и быть его органами. „Все, что есть,—говоритъ Бѣлинскій, повторяя слова Гегеля,—то необходимо, разумно и дѣйствительно“. Ни въ природѣ, ни въ исторіи нельзя найти ни одной погрѣшности, ни одного недостатка въ твореніи Предвѣчнаго Художника. А искусство есть воспроизведеніе дѣйствительности; слѣдовательно, его задача не поправлять и не прикрашивать жизнь, а показывать ее такъ, какъ она есть въ самомъ дѣлѣ.

Моралисты, это — „вампиры, которые мертвятъ жизнь холодомъ своего прикосновенія и сияются заковать ея безконечность въ тѣсныя рамки своихъ разсудочныхъ, а не разумныхъ опредѣленій“.

Таковы главныя идеи, которыя исповѣдывалъ Бѣлинскій въ московскій періодъ своей литературной дѣятельности. Статьи „Литературныя мечтанія“, „О нравственной философіи Дроздова“ и статьи о Бородинской годовщинѣ и Менцелѣ, это — три этапа въ исторіи философскихъ исканій Бѣлинскаго, это — отраженіе системъ Шеллинга, Фихте и Гегеля, трехъ великихъ германскихъ метафизиковъ, поочередно владѣвшихъ умами русской молодежи. Несмотря на различіе этихъ системъ, несмотря на своеобразное толкованіе, данное имъ нашимъ критикомъ, онъ правильно усвоилъ ихъ основное настроеніе, именно: страстный порывъ въ трансцендентный міръ, міръ абсолютнаго, и полное отвращеніе къ активному вмѣшательству въ „скорбную драму“ нашего временнаго бытія. Могъ ли долго оставаться такой публицистъ, какъ Бѣлинскій, на подобной точкѣ зрѣнія? Могъ ли долго оставаться скрытымъ отъ него тотъ фактъ, что эта философія трансцендентныхъ стремленій являлась превосходнымъ теоретическимъ обоснованіемъ гнета и насилія, что эта пѣсня о небѣ служить къ усыпленію страдающихъ массъ.

Въ 1843 году великій современникъ Бѣлинскаго, Генрихъ Гейне, возвращался на родину изъ Франціи, въ которой онъ видѣлъ, что „юный чистый гений прекрасной свободы обручился съ Европой“. На границѣ онъ встрѣтилъ малютку-арфистку, которая пѣла „о певѣдомомъ мірѣ далекихъ небесъ, гдѣ стихаютъ всѣ скорби и муки“. Со свойственнымъ ему горькимъ юморомъ оцѣнилъ поэтъ общественное значеніе этихъ пѣсень.

Та старинная пѣсня на небо зоветъ
Съ отреченьемъ отъ жизни печальной.
Этимъ гимномъ всегда усыпляютъ народъ,
Нашъ народъ истуканъ колоссальный.
Мнѣ знакомъ древнихъ пѣсень старинный напѣвъ,
Знаю тѣхъ, кто сложили ихъ народу:
Втихомолку они распивали вино,
А намъ всѣмъ завѣщали пить воду.

Бѣлинскій въ Петербургѣ скоро понялъ, кому служилъ онъ своимъ гегеліанствомъ. Мы видѣли уже, что и во всѣхъ его философскихъ увлеченіяхъ, въ самомъ его стремленіи къ общественному индифферентизму не переставалъ биться пульсъ общественной жизни, слышался голосъ могучаго соціального инстинкта.

Когда въ 1841 году Герценъ и Бѣлинскій встрѣтились, „недоразумѣніе“ кончилось, и недавніе противники пошли рука-объ-руку въ борьбѣ за общее дѣло.

Официальное народничество, славянофильство и западничество.

Причины, обусловившія „переломъ“ въ міросозерцаніи Бѣлинскаго.—Критика кружка, пробужденіе общественныхъ интересовъ, нападки на дѣйствительность николаевской эпохи и на отвлеченную философію.—Главные представители, органы и писатели-художники направленія официальной народности.—Отношеніе между славянофилами и западниками.—Главные представители и органы славянофильскаго направленія.—Міросозерцаніе славянофиловъ.—Связь ихъ основной идеи съ ученіемъ Шеллинга.—Мистическое представленіе о народѣ — Историческія воззрѣнія славянофиловъ: различіе между ходомъ европейской и ходомъ русской исторіи, идеализація русской старины, взглядъ на петровскую реформу.—Православіе, самодержавіе и народность съ славянофильской точки зрѣнія.—Заслуги школы и отрицательныя стороны ея вліянія.—Западничество.

Переломъ въ настроеніи и міросозерцаніи Бѣлинскаго совершился въ теченіе перваго же года его пребыванія въ Петербургѣ. Въ то время, какъ въ „Отечественныхъ Запискахъ“ (въ концѣ 1839 г. и въ первой книгѣ 1840 г.) появлялись гордые и самоувѣренные панегирики дѣйствительности, законченное выраженіе московскаго идеализма Бѣлинскаго, — въ это время онъ уже глубоко страдалъ отъ начинавшагося разлада. Переписка, относящаяся къ этому періоду его

жизни, свидѣтельствуешь о томъ, какъ глубоко потрясла его въ Петербургѣ та самая дѣйствительность, которая представлялась въ Москвѣ такимъ необходимымъ элементомъ міровой гармоніи.

Почему Бѣлинскій отъ философскихъ исканій, отъ погони за абсолютнымъ обратился въ Петербургѣ къ злобѣ дня, окунулся въ гущу той жизни, на которую до тѣхъ поръ смотрѣлъ съ высотъ абсолютной идеи? Было много причинъ, которыя толкнули великаго писателя на этотъ новый путь и изъ метафизика и абстрактнаго мыслителя превратили его въ пламеннаго общественнаго борца. Обыкновенно указываютъ на то, что столкновение съ кружкомъ Герцена произвело сильное впечатлѣніе на Бѣлинскаго и заставило его призадуматься; далѣе, Бѣлинскій сталъ внимательнѣе знакомиться съ произведеніями Жоржъ-Сандъ и французскихъ утопистовъ, которыми тогда увлекались въ Петербургѣ. Наконецъ, въ Петербургѣ онъ сталъ лицомъ къ лицу съ той дѣйствительностью, которой не видѣлъ въ Москвѣ, вращаясь въ небольшомъ кружкѣ такихъ же гегеліанцевъ, какимъ былъ онъ самъ. Несомнѣнно, что послѣдняя причина, какъ показываетъ переписка съ Боткинымъ, была самой важной. Петербургъ сразу вырвалъ его изъ предѣловъ кружка и раскрылъ передъ нимъ самый механизмъ бюрократической машины. Только въ Петербургѣ можно было увидеть воочию гнетущее дѣйствіе желѣзной длани, давившей Россію. Предъ нимъ постепенно раскрывается несостоятельность его абстрактнаго отношенія къ дѣйствительности. Онъ начинаетъ понимать, что ихъ кружокъ „губилъ китаизмъ“, что они „весь Божій свѣтъ видѣли въ своемъ кружкѣ“, что они говорили о мнѣніи читающей публики, когда, въ сущности, стихотвореніе или статья восхищали „тебя, меня, Каткова, и прочихъ чудаковъ“. Онъ убѣждается, что только въ Петербургѣ можно понять, что такое читающая публи-

ка. Онъ начинаетъ „чувствовать ожесточеніе противъ идеальности“. Онъ любитъ Россію, но начинаетъ сознавать, „что это съ ея субстанціальной стороны, но ея опредѣленіе, ея дѣйствительность“ приводятъ его въ отчаяніе — „грязно, мерзко, возмутительно-нечеловѣчески“. Эта фразы особенно характерна. Сущность, субстанція, можетъ-быть, гармонична и прекрасна, но „опредѣленіе“, т.-е. явленія, — отвратительны. Старая точка зрѣнія, согласно которой отрицательныхъ явлений не можетъ быть, потому что въ каждомъ раскрывается частица абсолютнаго, исчезаетъ передъ этимъ новымъ отношеніемъ къ дѣйствительности. „Въ Питерѣ только поймешь, что религія (конечно, въ философскомъ, а не въ теологическомъ смыслѣ, — замѣчаетъ Пыпинъ) есть основа всего и что безъ нея человѣкъ — ничто, ибо Питеръ имѣетъ необыкновенное свойство оскорбить въ *человѣкѣ* все святое и заставить въ немъ выйти наружу все сокровенное. Только въ Питерѣ *человѣкъ* можетъ узнать себя — *человѣкъ* онъ, *получеловѣкъ* или *скотина*: если будетъ страдать — въ немъ *человѣкъ*; если Питеръ полюбитъ ему — будетъ или богатъ или дѣйствительнымъ статскимъ совѣтникомъ... Публика — господа офицеры и чиновники... позоръ и оскорбленіе *человѣчества* и общества“. Со своимъ неустаннымъ стремленіемъ къ истинѣ Бѣлинскій начинаетъ понимать, какое огромное значеніе долженъ имѣть Петербургъ въ исторіи его развитія. Петербургъ былъ для него „страшной скалой, о которую больно стукнулось мое прекраснодушіе“. Онъ говоритъ теперь о томъ, что „права личнаго *человѣка* такъ же священны, какъ и мірового гражданина, и что кто на вопль и судорожное сжатіе личности смотритъ свысока, какъ на отпаденіе отъ общаго, тотъ или мальчикъ, или эгоистъ, или дуракъ, — а мнѣ тотъ, и другой, и третій одинаково несносны“.

Трудно повѣрить, что эти строки писались въ то

вянофильство сложилось уже послѣ смерти Бѣлинскаго. Знаменитый критикъ засталъ ту первоначальную стадію его исторіи, когда оно было скорѣе сердечнымъ неяснымъ порывомъ, чѣмъ обоснованнымъ ученіемъ. Неудивительно, что Бѣлинскій потребовалъ у школы прежде всего отчета въ ея вѣрованіяхъ, яснаго изложенія ея ученія. „Положительная сторона ихъ доктрины заключается въ какихъ-то туманныхъ мистическихъ предчувствіяхъ побѣды Востока надъ Западомъ, которыхъ несостоятельность слишкомъ ясно обнаруживается фактами дѣйствительности“. Въ „Отвѣтъ Москвитяину“ Бѣлинскій сознается, что, можетъ быть, не всегда точно и ясно излагалъ мнѣнія своихъ противниковъ. „Но кто же въ этомъ виноватъ? Конечно, не мы, а сами гг. славянофилы. До сихъ поръ ни одинъ изъ нихъ не потрудился изложить основныхъ началъ славянофильскаго ученія. Онъ указываетъ на то, что славянофилы противорѣчатъ сами себѣ безпрестанно, что у „нихъ столько же мнѣній, сколько лицъ“. Другое обвиненіе, съ которымъ онъ выступаетъ противъ славянофиловъ, заключается въ томъ, что они не постарались отграничить себя отъ официальной народности. И, дѣйствительно, какъ мы уже знаемъ, не всегда можно было установить границу между патріотами полицейскаго оттѣнка и искренними націоналистами славянофильской школы. „Многіе славянофилы,—говоритъ Бѣлинскій въ своемъ „Отвѣтъ“,—не любятъ вспоминать о „Маякѣ“, какъ будто чуждаются его, никогда не высказываютъ своего мнѣнія ни, за ни противъ его; подумаешь, что они и не знаютъ ничего о существованіи подобнаго журнала. А это оттого, что „Маякъ“ былъ самымъ крайнимъ и самымъ послѣдовательнымъ органомъ славянофильства“. По мнѣнію Бѣлинскаго, „Маякъ“ могъ презирать „Москвитянина“ за его половинчатость, „Маякъ“ выставилъ славянофильство „на позорище

свѣта въ его истинномъ, настоящемъ видѣ“. За славянофилами Бѣлинскій признаетъ одну заслугу, но заслугу отрицательную; они возстали противъ русскаго европеизма, они указали только фактъ, не изслѣдовавъ его причинъ, но зато заставили своихъ противниковъ сдѣлать это. Такова ихъ единственная заслуга, имѣющая отрицательный характеръ.

Но главное значеніе Бѣлинскаго заключается не въ этой борьбѣ съ отрицательными явленіями тогдашней литературы. Новыя научныя идеи, проникавшія все сильнѣе въ русское общество, новое отношеніе къ дѣйствительности, новыя требованія къ художественной литературѣ,—все это не могло бы завоевать себѣ такъ быстро господствующаго положенія, если бы Бѣлинскій не обладалъ гениальнымъ критическимъ чутьемъ и не примѣнилъ бы новыхъ воззрѣній къ тому новому и крупному, что нарождалось въ русской литературѣ, и къ ея прошлому. Его точка зрѣнія на отдѣльных писателей теперь кореннымъ образомъ мѣняется по сравненію съ тѣмъ, что мы видѣли въ „Литературныхъ мечтаніяхъ“. Кантемира онъ называетъ теперь „умнымъ и даровитымъ“. Писателей прошлаго онъ оцѣниваетъ теперь по ихъ отношенію къ дѣйствительности. Фонвизинъ, который въ „Литературныхъ мечтаніяхъ“ удостоился пренебрежительнаго отзыва, въ статьѣ „Взглядъ на русск. лит. 1846г.“ названъ „первымъ даровитымъ комикомъ“, котораго „не только чрезвычайно интересно изучать, но котораго читать есть истинное наслажденіе“. Въ его лицѣ „русская литература какъ-будто даже преждевременно сдѣлала огромный шагъ къ сближенію съ дѣйствительностью: его сочиненія — живая лѣтопись той эпохи“. Нужно ли прибавлять, что русская литература эпохи Бѣлинскаго давала богатый матеріалъ для мыслей великаго критика. Онъ подвелъ итоги дѣятельности Пушкина. На его глазахъ развивался могучій талантъ

Гоголя. Наконецъ, онъ привѣтствовалъ восходящую плеяду будущихъ свѣтилъ русской литературы. Достаточно сказать, что въ одной статьѣ „Взглядъ на русскую литературу 1847 года“ Бѣлинскому пришлось сразу выяснитъ значеніе такихъ произведеній, какъ „Кто виноватъ“ Герцена, „Обыкновенная исторія“ Гончарова, „Хоръ и Калинычъ“ Тургенева, „Антонъ-Горемыка“ и „Деревня“ Григоровича, „Хозяйка“ Достоевскаго и т. д. Вся литература, анализу которой посвящены слѣдующія страницы нашей книги, является лучшимъ показателемъ положительной заслуги Бѣлинскаго въ области критики.

Такой краткій путь, но путь, полный богатаго внутреннего содержанія и напряженной мысли, прошелъ Бѣлинскій. Онъ началъ съ абстракцій и кончилъ почти позитивизмомъ и матеріализмомъ. Онъ началъ съ поисковъ единой Абсолютной идеи, изъ которой сразу можно было бы объяснить все явленія видимой дѣйствительности. Онъ кончилъ тѣмъ, что стремился установить объективные методы познанія истины на основаніи фактовъ этой дѣйствительности. Въ началѣ своей дѣятельности онъ видитъ въ историческомъ процессѣ только раскрытіе божественной идеи. Въ концѣ ея онъ уже предчувствуетъ возможность научной теоріи историческаго процесса, онъ смѣется надъ „самолюбивымъ вмѣшательствомъ въ историческія судьбы“ и требуетъ признанія „неотразимой дѣйствительности существующаго“. Мистическая идея народа смѣняется представленіемъ о національности какъ о „результатѣ соединенія людей“, предчувствіемъ новыхъ возрѣній относительно земного происхожденія государства и національности. Литература, пѣкогда раскрывавшая въ его глазахъ гармонию божественнаго замысла, должна заняться изученіемъ дѣйствительности, изслѣдованіемъ законовъ, управляющихъ явленіями; она становится спутникомъ науки, почти сли-

вается съ нею, разъясняя то, что совершается вокругъ насъ, содѣйствуя правильному направленію нашихъ усилій въ духѣ назрѣвающихъ общественныхъ потребностей, являясь могучимъ орудіемъ прогресса, великой поборницей передовыхъ идей. Наконецъ, исторія въ его глазахъ начинала превращаться въ закономѣрный процессъ, въ основѣ котораго лежали реальные факты, развивающіеся въ силу законовъ, свойственныхъ имъ и вполне доступныхъ человѣческому изслѣдованію. Конечно, было бы чудовищнымъ преувеличеніемъ назвать Бѣлинскаго представителемъ или даже предшественникомъ матеріалистическаго міросозерцанія. До конца литературной дѣятельности его не покидаетъ идея нравственной справедливости, лежащей въ основѣ развертывающейся жизни, до конца стоитъ онъ на идеалистической точкѣ зрѣнія и прилагаетъ свои нравственные субъективные мѣрила къ явленіямъ дѣйствительности. Въ отношеніяхъ между личностью и обществомъ онъ до конца апологетъ личности, страданія которой глубоко отзываются въ его великомъ сердцѣ. До конца онъ больше говоритъ о томъ, что должно быть, а не о томъ, что есть. Но среди его твореній, проникнутыхъ идеализмомъ, мы видимъ проникновенныя строки, свидѣтельствующія о томъ, что этотъ страстный искатель истины былъ недалекъ отъ того, чтобы броситься въ объятія новаго ученія, которое было съ необыкновенной яркостью и силой провозглашено почти въ годъ его кончины. Въ его недовольствѣ „говорунами“, которые видятъ произволъ и случайность тамъ, гдѣ совершается необходимый процессъ; въ его замѣчаніи „о непреодолимыхъ законахъ“, заключенныхъ въ „сущности самого общества и обусловливающихъ его жизнь и развитіе; въ его словахъ, что государственныя постановленія „не бываютъ закономъ, изреченнымъ отъ человѣка, но являются, такъ сказать, одновременно и только вы-

говариваются человѣкомъ“; наконецъ, въ его изумительно просто высказанной мысли, что „дѣйствительность, какъ явившійся отблесившійся разумъ, всегда предшествуетъ сознанію, потому что прежде, нежели сознать, надо имѣть предметъ для сознанія“, — во всемъ этомъ чувствуется научный духъ, который царить и въ „Коммунистическомъ манифестѣ“.

Какое же мѣсто занимаетъ Бѣлинскій въ исторіи развитія русской мысли? Его міросозерцаніе было переходомъ отъ чистой метафизики къ чисто-научному. міровоззрѣнію, отъ крайняго идеализма къ матеріализму. Можно искать въ мірѣ прежде всего космическихъ силъ, считать дѣйствительность только продуктомъ единой царящей въ мірѣ идеи. Съ этой точки зрѣнія подъ разными формами, мысль всегда жертвуетъ дѣйствительностью во имя этой міровой идеи. Съ этой точки зрѣнія дѣйствительность и вообще міръ явленій никогда не будутъ представлять сами по себѣ цѣли нашего познанія, всегда будутъ играть служебную роль въ пониманіи міровой жизни. И человѣческое общество, его развитіе есть одинъ изъ элементовъ въ этомъ процессѣ. Можно исходить изъ совершенно противоположнаго воззрѣнія. Міръ явленій представляется даннымъ фактомъ. Всѣ наши понятія и идеи — только обобщенія видимыхъ явленій, они не имѣютъ абсолютной цѣнности и реальнаго бытія, они мѣняются въ зависимости отъ переменъ, совершающихся въ мірѣ явленій. Съ первой точки зрѣнія, развитіе міра есть осуществленіе опредѣленной цѣли, и различныя ступени этого развитія оцѣниваются въ зависимости отъ ихъ роли въ ея осуществленіи. Со второй точки зрѣнія процессъ развитія безцѣленъ, онъ совершается въ силу измѣненій, присущихъ самимъ явленіямъ. Развитіе человѣческаго общества совершается тоже благодаря неизбѣжно развивающимся изъ самихъ себя силамъ, входящимъ въ его структуру. Отдѣльныя сту-

пени этого развитія не подлежатъ абсолютной нравственной оцѣнкѣ. Среди нихъ нѣтъ высшихъ и низшихъ. Всѣ они—необходимыя стадіи, и наша задача заключается въ томъ, чтобы, не внося субъективныхъ оцѣнокъ, не доискиваясь несуществующей или скрытой отъ насъ божественной цѣли, принять совершающійся процессъ развитія какъ фактъ и попытаться вывести изъ него общіе законы, которые лежатъ въ его основѣ. Въ первый періодъ своей литературной дѣятельности Бѣлинскій примыкаетъ вполне къ первой изъ двухъ указанныхъ точекъ зрѣнія. До второй онъ не дошелъ до конца своей жизни. Но онъ приблизился къ ней. Онъ чувствовалъ, что въ реальныхъ условіяхъ самой общественной жизни слѣдуетъ искать законовъ, объясняющихъ процессъ ея развитія. Но онъ, какъ мы видѣли, до конца не переставалъ замѣнять произвольными логическими построеніями изученіе дѣйствительной причинной связи событій. Онъ не дожилъ до того момента, когда новыя историческія и соціальныя воззрѣнія завоевали себѣ почетное мѣсто и діалектическій идеализмъ смѣнился діалектическимъ матеріализмомъ. И, тѣмъ не менѣе, онъ останется знаменемъ русской интеллигенціи не только потому, что выступилъ глашатаемъ ея вѣры въ апріорные идеалы истины, добра и красоты, но и потому, что его пламенное стремленіе къ истинѣ сдѣлало его предвѣстникомъ и того направленія русской общественной мысли, которое подошло къ дѣйствительности безъ предубѣжденій и въ ней самой стало искать ея объясненія.

Болѣе полувѣка отдѣляютъ насъ отъ смерти Бѣлинскаго, и онъ остается до сихъ поръ источникомъ, отъ котораго можно вести современныя намъ теченія общественно-литературной мысли. Онъ выступилъ съ нетерпѣливой жаждой истины. Его умъ не искалъ, а страстно требовалъ ея. Своей желѣзной духовной

силой стремился онъ сковать въ гармоническое цѣлое все, надъ чѣмъ вѣками бьется человѣческая мысль, стремился создать цѣльный міръ, гдѣ Богъ и вселенная, исторія и общество, наука и поэзія, правда и страданіе образовали бы стройную картину, отвѣчающую пламенному стремленію его духа. Дѣйствительность разрушила эту гармонию, разбила иллюзіи. И онъ не задумываясь, подошелъ съ другой стороны, чтобы овладѣть неприступной крѣпостью истины. Отъ общаго и неопредѣленнаго пришлось перейти къ частностямъ, придать абстрактному конкретныя формы. Русская интеллигенція съ тѣхъ поръ разбилась на враждующія группы, идущія различными путями къ общей цѣли. Но Бѣлинскій навсегда останется имеемъ, которому принадлежитъ ихъ общее поклоненіе. Онъ—символь этой общей цѣли. Его энтузіазмъ, его пламенная ненависть, муки его жизни и муки его мысли, это—типичныя формы, въ которыя облекались этапы русской прогрессивной мысли. Можно спорить о томъ, какому направленію принадлежалъ бы его гениальный умъ, если бы не закончилась такъ рано его страдальческая жизнь. Но нельзя спорить о томъ, что значеніе его неизмѣримо шире, чѣмъ роль родоначальника опредѣленнаго направленія. Онъ уничтожилъ традиціи и расчистилъ путь философскимъ и общественнымъ исканіямъ. Съ его именемъ связанъ самый фактъ возникновенія литературно-общественныхъ и философско-историческихъ направленій. Его общественная злоба разбила русское общество на лагери и разставила на враждебныя позиціи тѣхъ, кто считали себя соратниками. Онъ часто ошибался въ путяхъ, но одно завѣщанное имъ наслѣдіе, какъ недостижимый идеаль, было воспринято всѣми лучшими представителями послѣдующей литературы,—это святой образъ мученика-публициста, беззавѣтно мужественнаго борца за права угнетенныхъ и обездоленныхъ.

Того же автора:

Очерки по исторіи древнихъ литературъ. I. Греческая литература. Изд. 2-е. М. 1910. Ц. 1 р. 25 к.

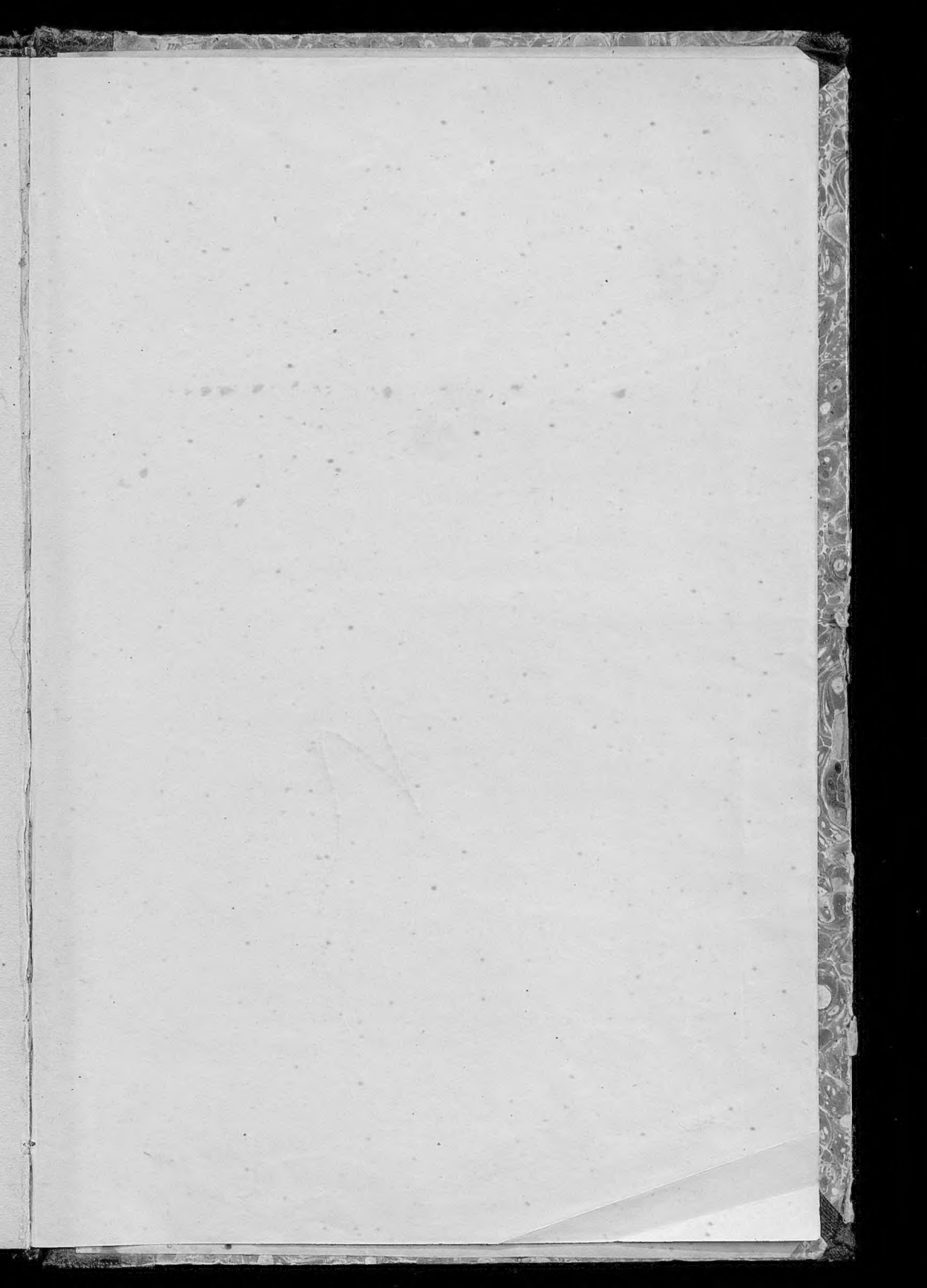
Очерки по исторіи западно европейскихъ литературъ. Т. I. Изд. 4-е М. 1909. Ц. 1 р. 50 к. Т. II. Изд. 3-е М. 1910. Ц. 1 р. 50 к. Т. III. Ч. I. Изд. 2-е М. 1911. Ц. 1 р. 25 к. Т. III. Ч. II. М. 1910. Ц. 1 р. 25 к.

Очерки по исторіи новѣйшей русской литературы. Т. I. Вып. I. Изд. 2-е М. 1910. Ц. 1 р. Т. I. Вып. II. Изд. 2-е М. 1910. Ц. 1 р.

Очерки по исторіи нов. русск. лит. Т. III. Современники. Вып. I. (*Купринъ, Юшкевичъ, Арцыбашевъ, Солоубъ, Зайцевъ, и др.*). Изд. 2-е М. 1911. Ц. 1 р. Вып. II (*Л. Андреевъ, Бальмонтъ, Брюсовъ, Бунинъ, Блокъ, „Навы чары“ Солоуба*). М. 1910. Ц. 1 р. Вып. III. (*Мистики, и богоискатели. Мережковский, А. Бѣлый, В. Ивановъ*). М. 1911. Ц. 1 р.

Выйдутъ въ непродолжительномъ времени:

Учебникъ по исторіи зап.-европ. лит. для средней школы.
Хрестоматія по исторіи зап.-европ. лит.



30200

2

57

59

58

Das Gedächtnis
20/11 - 17

